

Василиса Яровая

МОРЕ
ПОМНИТ ДОЛГИ

Василиса Яровая

Море помнит долги

<https://litres.ru/74649338>

SelfPub; 2026

Аннотация

В этом городе каждое обещание имеет цену. Нарушишь клятву — заплатишь. Иногда свободой. Иногда жизнью. А самые страшные долги забирает море.

Семнадцатилетняя Анаик Сальве умеет видеть магические нити, связывающие людей их обетами. Её дело — свидетельствовать правду, не задавая лишних вопросов. Но однажды именно её показания отправили человека на смерть.

Три года спустя Анаик поручают заверить обручение его сына с дочерью самого влиятельного человека в городе. Казалось бы, обычная церемония. Только нить жениха оказывается неправильной, старые тайны начинают всплывать на поверхность, а до Прилива Долга остаются считанные дни.

Раз в сорок девять лет море приходит за тем, что ему причитается.

И на этот раз под угрозой целый город.

Чтобы спасти его, Анаик придётся выяснить, кто солгал много лет назад. И решить, готова ли она разрушить всё, во что верила, ради правды, которую никто не хочет слышать.

Ведь море может простить многое. Но оно никогда ничего не забывает.

Содержание

Глава первая. Долг до сельди	5
Глава вторая. Мутная нить	22
Глава третья. Архив нитей	38
Глава четвёртая. Договор без янтаря	54
Глава пятая. Дом над отмелями	69
Глава шестая. Гуэрнская дамба	83
Глава седьмая. Очистка	97
Глава восьмая. Шторм	111
Глава девятая. Долг Эрвана	124
Глава десятая. Вдова старшины	137
Глава одиннадцатая. Вырезанная страница	150
Глава двенадцатая. Вечер обручённых	164
Глава тринадцатая. Весовая палата	178
Глава четырнадцатая. Под стеклянной крышей	192
Глава пятнадцатая. Срез	205
Глава шестнадцатая. Признание	218
Глава семнадцатая. Жёлтые ногти	234
Глава восемнадцатая. Нижний причал	250
Г	265
Конец ознакомительного фрагмента.	266

Василиса Яровая

Море помнит долги

Глава первая. Долг до сельди

Отлив в тот день пришёлся на рассвет, и Нижний причал вонял так, как умеет вонять только дно, которое море на шесть часов отдало людям. Сваи стояли голые, в бурой бахrome водорослей. Между ними, по колено в иле, бродили мальчишки с вёдрами и выковыривали мидий. Лодки лежали на боку, как уснувшие собаки.

Я пришла за полсклянки до назначенного и успела замёрзнуть. Белые перчатки не греют, их шьют не для тепла. Шерстяной плащ гильдии отсырел ещё на лестнице, а ветер с залива пах водорослями и тухлой рыбой одновременно, и к этому сочетанию я так и не привыкла за девять лет.

Сетевщик Ален Ле Дрен явился первым. Он был из тех, кто носит на шее цепочку с серебряным кругом напоказ, чтобы с ним заранее разговаривали иначе. Следом, подталкивая друг друга, пришли двое Гоазиу: старший, Пейр, и его сын, которому на вид было лет четырнадцать.

— Свидетельница, — Ле Дрен поклонился ровно настолько, насколько полагалось, и ни на волос ниже. — Холодно сегодня. Начнём, чтобы вас не держать?

— Начнём, когда я прочту условия.

Он протянул мне лист. Я встала так, чтобы свет падал из-за плеча. Шесть кругов серебром на починку сетей и новую мачту. Возврат до конца сельдевого хода. Залог — правая рука должника.

Я подняла глаза на Пейра. Руки у него были такие, какие бывают у людей, сорок лет выбирающих мокрые сети: красные, растрескавшиеся, с пальцами толщиной в черенок ножа.

— Мастер Гоазиу, вы понимаете, что значит этот залог?

— Понимаю, — буркнул Пейр.

— Если до последнего дня хода вы не вернёте шесть кругов, рука застынет. Болеть не будет: сначала пожелтеют ногти, потом пальцы станут твёрдыми и прозрачными, как смола на сосновой коре, а через несколько дней вся кисть превратится в янтарь. Ни один лекарь в Кер-Ис-Море её не спасёт.

— Свидетельница, он знает, — Ле Дрен переступил с ноги на ногу. — Мы всё обговорили.

— Я спрашиваю не вас.

Пейр посмотрел на сына. Мальчишка стоял, сунув кулаки под мышки, и разглядывал лодку отца, у которой из борта выдран был целый пояс досок.

— Без мачты я в этом году не выйду, — Пейр говорил медленно, словно пробовал каждое слово на крепость. — Не выйду — не будет улова. А без улова всё одно без руки, толь-

ко без руки и без денег. Давайте, свидетельница.

Спорить с этим было не моим делом. Я сняла с пояса кожаный кошель, распустила шнурок и вытряхнула на ладонь две бусины: мутно-жёлтые, неровные, с пузырьками внутри, выловленные сборщиками после осенних штормов и выдержанные под молитвами сорок дней в мастерской Янтарного двора. В озябшей руке они казались тяжелее, чем были, будто знали, зачем их достали.

— Возьмите, каждый. Зажмите в кулаке и говорите, поднеся руку к губам.

Ле Дрен взял брезгливо, кончиками пальцев. Пейр — всей горстью, как берут хлеб. Я подождала, пока у обоих на лицах проступит одно и то же выражение: так замирает любой человек, когда бусина в кулаке вдруг теплеет, как живая, и от пальцев начинает пахнуть сосновой смолой, которой на причале взяться неоткуда.

— Говорите.

Первым начал заимодавец, потом должник, и оба держались слов листа. Я слушала не голос, а то, что возникало между ними. На словах «до конца сельдевого хода» у левого запястья Пейра, там, где под кожей бьётся жила, показалась золотистая точка.

Когда прозвучало «моя правая рука», от неё потянулась нить — тонкая, мутно-золотая, как струйка мёда в холодной воде, — и нашла руку Ле Дрена. Натянулась. Затвердела. Теперь она была толщиной с конский волос и светилась изнут-

ри, но видела её на всём причале только я.

Кровь у меня в висках ответила ей покалыванием. Так бывало всегда: каждая заверенная нить оставляет в свидетельнице крупинку янтаря. Мать-настоятельница говорила, что мы платим собой за чужую верность. Тогда, в восемь лет, это звучало красиво.

Я протянула ладонь, и оба вернули бусины. Внутри каждой, если смотреть моими глазами, застыла теперь тонкая золотая жилка — печать обета, которая переживёт и заимодавца, и должника.

— Я вижу и помню, — я сомкнула пальцы. — Обет лёг. Печати и табличку с условиями внесут в архив нитей сегодня до вечерней воды. Мастер Ле Дрен, три круга за заверение.

Он отсчитал их, не глядя мне в лицо, и ушёл быстро, как уходят люди, получившие то, за чем пришли. Пейр остался. Он трогал левое запястье, хотя нить не ощущается кожей.

— Её видно? — не утерпел мальчишка.

— Мне одной.

— А какая она?

— Золотая, — я затянула шнурок кошель. — Скучная. Ничего красивого в ней нет, поверь.

Пейр положил сыну руку на затылок и повёл прочь, к перевёрнутой лодке. Я смотрела им вслед дольше, чем требовало моё дело. Шесть кругов. Мой брат Эрван был должен Кермарекам девять, и залогом там стояли годы его работы на янтарных копанках, а не рука. Отец в своё время считал

ЭТО МИЛОСТЬЮ.

* * *

Второе заверение было назначено у Рыбного спуска, у самого края причала, где сваи уходят под Внешнюю дамбу. Я пошла туда по доскам, придерживая подол, и на середине пути услышала крик.

Кричал не человек — чайки. Они поднялись с воды всей стаей, разом, как поднимаются, когда кто-то швыряет в них камнем. Потом закричал и человек:

— Тудаль! Тудаль, сукин ты сын, стой!

По мелководью вдоль дамбы уходила плоскодонка. Отлив был на исходе, в канале между сваями уже прибывала вода, и лодочник отталкивался шестом, торопясь вывести лодку за створ, пока её не прижало к камням. На корме, сгорбившись, сидел человек в коричневом капюшоне. А по причалу за ними бежал толстый мужчина в фартуке рыбака и размахивал руками.

Тудалья Морвана я знала. Весной, в первый месяц после посвящения, я заверяла его долг тому самому рыбаку: тридцать кругов на лавку, пропитую потом до последней доски, и условие, над которым я тогда думала дольше, чем над суммой. «Не покину Кер-Ис-Мора, пока не верну долг». Залогом были два пальца левой руки.

Город в обетах кончается не там, где дома. Его границу провела первая свидетельница три века назад, и проходит она по Внешней дамбе. Плоскодонке оставалось до её створа

шагов сорок.

Я побежала. В юбке гильдии бегать неудобно, по мокрым доскам — тем более. Нить я увидела раньше, чем добежала до края: она тянулась от лодки к причалу, к рыбнику, и уже не была ни мутной, ни тусклой. Она раскалялась. Обет понимал, что его вот-вот нарушат, и наливался светом, как железо в горне.

— Лодочник! — мне пришлось набрать воздуха дважды.
— Поворачивай назад! Именем Белого Янтаря!

Лодочник обернулся. Шест замер в воде. Тудаль вскочил, и плоскодонка закачалась.

— Не слушай её! Плачу вдвое, греби!

— Ты не успеешь его вывезти, — я встала на самый край настила, чтобы меня видели. — Если ваша корма пройдёт створ, у него рука начнёт желтеть ещё в лодке. Ты хочешь везти его через залив, пока он будет кричать?

Это было почти правдой. Залог в два пальца не убивает и не кричит. Но лодочник смотрел не на меня, а на мои руки, и белые перчатки свидетельницы на этом причале значили больше, чем двойная плата. Он выругался, упёр шест в камень и повёл лодку назад.

Тудаль сел. Он больше не пытался ни спорить, ни прыгать. Когда плоскодонка ткнулась носом в сваю у моих ног, он поднял ко мне левую руку. На ногтях безымянного пальца и мизинца проступили жёлтые пятна, неровные, как потёки смолы на коре.

— Только кончики, — мой голос звучал спокойнее, чем я себя чувствовала. — Нить тебя предупредила, не забрала. Сойдёт через неделю, если до неё ты не попробуешь ещё раз.

— Свидетельница, — выдохнул рыбник, наконец догнав нас и держась за бок. — Благословите вас прилив, свидетельница. Я уж думал, всё, ищи его потом по островам...

— Я не на вашей стороне, мастер Бодик. Я служу обету. Он закивал, будто я сказала что-то очень умное. Тудаль смотрел на свои ногти.

— Лучше бы ты дала мне уйти, — голос у него был совершенно трезвый, и это пугало больше, чем если бы он был пьян. — Пальцы — что пальцы. Тут я и с пальцами сдохну.

Я не нашла, что ему возразить, поэтому ответила по уставу:

— Обет можно распустить по согласию обеих сторон. Поговорите с мастером Бодиком, может быть, он примет другие условия.

Бодик фыркнул так, что стало ясно, на какие условия он пойдёт. Я отвернулась и пошла к Рыбному спуску, где меня ждали. Только на полпути я заметила, что у меня дрожат руки, и сжала их в кулаки, чтобы перчатки не выдали.

У Рыбного спуска меня ждала хозяйка коптильни Жаннетта Ле Кам с двумя девчонками-сиротами, которых она нанимала на зиму. Обет найма самый простой из всех: работа за кров, хлеб и два зерна в неделю, залог с обеих сторон — месяц жизни.

Девчонки держались за руки и сжимали бусины по очереди, будто боялись, что одной не хватит. Нити легли сразу, ровные и тонкие, какие бывают только у людей, которым нечего скрывать. Жаннетта заплатила три круга, не торгуясь, и сунула мне в руку кусок копчёной макрели, завёрнутый в лист щавеля. Я съела её на ходу, поднимаясь по Отмельной лестнице, и только тогда согрелась.

В уставе гильдии есть правило, которое мы учим раньше, чем учимся различать нити: свидетельница заверяет обет и не вмешивается в его исполнение. Мы не судьи и не стража. Мы — глаза. Я только что вернула лодку именем Белого Янтаря, и половина причала это видела.

* * *

Янтарный двор стоит на Верхних холмах, выше всех домов Кер-Ис-Мора, кроме маяка. Говорят, первая свидетельница выбрала это место, чтобы с крыши видеть весь город и все его обещания разом. Я думаю, ей просто нужен был свет.

Мастерская занимает весь верхний ярус под стеклянной крышей: длинные столы, жаровни, корыта с морской водой. Янтарь, который сборщики приносят после штормов, — старухи на причалах до сих пор зовут его слезами Мор-Иса, — там моют, отбирают, сверлят и полируют, и над каждой бусиной сорок дней читают слова, которых нет ни в одной книге города. Работа нудная, вонючая, потому что войлок пропитывают бараньим жиром, и бесконечная. Послушниц ставят на неё в наказание, свидетельниц — по очереди.

Мадлон Ферре была в мастерской не в наказание, а по очереди, но выглядела словно её приговорили. Она сидела над корытом с ворохом мокрых бусин, как над чьей-то могилой.

— Ты знаешь, что у меня третий день чешется нос? — пожаловалась она вместо приветствия. — Третий день. А чесать нельзя, потому что перчатки в жиру, а снимать их запрещено, потому что сестра Бенуаза видит всё. Я схожу с ума, Анаик. Почеши мне нос.

Я почесала ей нос. Мадлон закрыла глаза с выражением, какое бывает у святых на фресках.

— Ты добрая, — она открыла один глаз. — И бледная. Что стряслось на причале?

— Откуда ты знаешь, что на причале что-то стряслось?

— Ниоткуда. Но ты пришла в мастерскую, хотя тебе сегодня не сюда, и стоишь, как будто тебя сейчас вызовут.

— Меня вызовут.

— За что?

Я рассказала. Мадлон не перебивала и не переставала тереть бусину о войлок: она вообще умела слушать руками. На словах «именем Белого Янтаря» рука у неё остановилась.

— Ты дура, — с искренней нежностью объявила Мадлон.

— Ты добрая дура. Тудаль Морван пропъёт и пальцы, и руку, и вообще всё, что у него есть, а тебя за это посадят к корытам до самого Прилива. Будем сидеть вместе. Я тебе буду чесать нос.

— Если бы он прошёл створ...

— Он бы лишился двух пальцев. Сам. По своему обету, — войлок снова зашуршал. — Анаик, мы видим, мы не держим. Я тебе это всю прошлую зиму твердила, когда ты ещё ходила в послушницах.

— Я помню.

— Ну вот.

С лестницы донеслись шаги. Сестра Бенуаза, у которой седина начиналась уже от бровей, остановилась в дверях и оглядела меня так, как смотрят на лужу, в которую сейчас придётся наступить.

— Свидетельница Сальве. Мать-настоятельница ждёт вас, — бросила она и ушла вниз, не дожидаясь ответа.

Мадлон за моей спиной шепнула что-то очень непочтительное про скорость, с которой по Янтарному двору расходятся новости. Я спустилась следом за Бенуазой, не оборачиваясь.

* * *

У матери-настоятельницы Ортанс Ле Беррук было три комнаты: келья, молельня и рабочая, и в последней всегда топили, даже летом. Я узнала почему, только когда сама стала свидетельницей. Янтарь в крови тянет из тела тепло и делает суставы тугими. К сорока годам большинство из нас мёрзнет у любого огня, а Ортанс было уже под пятьдесят.

Она сидела у очага в кресле, укрыв колени пледом, и разбирала таблички. Волосы у неё были не седые даже, а белые, как воск, и коротко остриженные. Кожа на руках пожелтела

и стала полупрозрачной, а пальцы сгибались медленно, будто через силу. Она не подняла головы, когда я вошла, и я стояла у двери, пока она не отложила табличку.

— Садись, — Ортанс указала на табурет по другую сторону очага. — Ты замёрзла.

— Я ничего, матушка.

— Ты замёрзла, у тебя губы синие. Садись, — повторила она тем голосом, которым когда-то велела мне не плакать в первую ночь.

Я села. Огонь пах торфом и сосновой стружкой. На каминной полке стояли три янтарные печати в серебряных оправках — самые древние в гильдии после тех, что оставила Аэлиз. Я видела их сотню раз и всё равно каждый раз смотрела.

— Тудаль Морван, — Ортанс не спрашивала. — Мастер Бодик уже прислал мальчишку с благодарностями. Он в торговле. Он собирается рассказать о тебе всему Рыбному рынку.

— Я знаю, что нарушила устав.

— Ты знаешь, какую строку?

— Свидетельница не вмешивается в исполнение обета. Второй свиток, седьмая строка.

— И почему она там написана?

Мне было семнадцать, белые перчатки я носила с весны, и рядом с ней я снова становилась девочкой в слишком длинной рубаше послушницы, которой задают вопрос, на который

она должна знать ответ.

— Потому что свидетельницам должны верить обе стороны, — я посмотрела на огонь. — Если мы начнём решать, чей обет исполнить, а чей нарушить, нам перестанут доверять. Тогда обеты станут оружием тех, кому мы помогаем.

— Сегодня ты помогла рыбаку против должника. Завтра кто-нибудь придёт к тебе и попросит помочь Кермарекам в споре с Ардуэнами. Или наоборот. И ты скажешь, что не вмешиваешься, а тебе напомнят про Рыбный спуск.

Я молчала. Она была права, и я это знала, ещё когда бежала по мокрым доскам.

Ортанс подалась вперёд, и плед сполз с её коленей. Я подняла его и снова укрыла её ноги. Она позволила, коротко коснувшись моей руки сухими пальцами.

— А теперь скажи мне, почему ты это сделала.

— Он бы не вернулся, — я подбирала слова, потому что сама до этой минуты не отвечала себе на этот вопрос. — Он бы сошёл на островах и начал жить заново без двух пальцев. Это было бы честно, по обету. Но лодочник ничего не обещал, а Тудаль заплатил ему вдвое, и если бы беглец начал застывать посреди залива, его выбросили бы за борт. Я видела, как тот держит шест.

Мать-настоятельница долго смотрела на меня. Потом засмеялась — тихо, без звука, одними плечами, и закашлялась. Кашляла она долго. Я подала ей чашку с водой со стола, она отпила, вытерла губы платком, и на белом полотне осталось

желтоватое пятно, липкое, как смола.

— Ты всегда видишь больше нити, — Ортанс сложила платок. — Это хорошо, Анаик, и это плохо, и ты пока сама не понимаешь, где одно переходит в другое. Неделя в мастерской.

— Да, матушка.

— Это не всё, — она взяла с колен табличку и протянула мне. — Через три дня ты едешь к Маяку Аэлиз.

Табличка была свежая, ещё влажная по краю, где писец прижимал печать. Я прочитала её дважды. Обручение наследников. Леонор, дочь Гильдаса Кермарека, Хранителя Дамб. Корантен, сын покойного Иво Ардуэна. Обручальный обет приносится перед Приливом Долга и скрепляется браком в день полной воды. Свидетельница — Анаик Сальве, первая ступень.

Я положила табличку на колени, будто она была горячей.

— Матушка, я не могу.

— Почему не можешь?

— Вы знаете почему. Три года назад, ещё ученицей, я свидетельствовала на суде над Иво Ардуэном. Это я увидела, что его нить порвана. По моим показаниям его...

Я не договорила. У нас не принято называть это прямо, как не говорят громко о море.

— По твоим показаниям его вернули морю, — Ортанс ничуть не смутилась. — Да. И поэтому Гильдас Кермарек просил тебя лично. Он хочет, чтобы обручение его дочери за-

веряла свидетельница, которую Ардуэны никогда не смогут подкупить, задобрить или запугать. Тебя ненавидят в их доме, и все об этом знают. Значит, твоему слову поверят.

— Мне не поверит жених.

— Жениху верить не нужно, — отрезала Ортанс. — Ему нужно взять янтарь и сказать слова.

— Матушка, мне семнадцать. Я полгода в перчатках и ни разу не заверяла ничего дороже лавки.

— Совет Дамб это тоже заметил. Гильдас настоял, а с Хранителем Дамб за сорок дней до Прилива никто спорить не станет.

Я смотрела на табличку. Кровь у меня в висках опять покалывала, хотя никакой нити рядом не было, — бывает и так, когда устаёшь.

— И ещё одно, — Ортанс откинулась в кресле. — Леонор Кермарек тоже просила тебя. Она написала мне сама, своей рукой. Вы ведь были молочными сёстрами?

— До восьми лет.

— Значит, у тебя в этом деле есть кто-то, кому ты желаешь добра. Это полезно, — она закрыла глаза, словно разговор её утомил. — Прилив Долга бывает раз в сорок девять лет, Анаик. Из нынешних сестёр его видела только я, и то девочкой. Если обручение пройдёт чисто, а брак ляжет в полную воду, город будет стоять ещё полвека. Если нет...

— Если нет, море придёт за долгом.

— Так написано на маяке, — мать-настоятельница не от-

крыла глаз. — Я бы предпочла этого не проверять. Иди. К корытам сядешь после Маяка.

Я встала, поклонилась и пошла к двери. На пороге она окликнула меня:

— И Анаик. Брат твой, Эрван, сколько ему ещё на копанках?

— Три года по обету. Если не выкупить.

— Девять кругов, кажется, — протянула она.

— Девять, матушка.

— Я помню, — голос у неё был совсем сонный. — Сделай это чисто, и мы поговорим о девяти кругах.

* * *

К вечерней воде я внесла в архив печати Пейра Гоазиу и Тудаля. На табличке беглеца писец уже вывел белыми чернилами «предупреждение у створа». Потом я долго стояла на галерее Янтарного двора, откуда видно весь залив.

Прилив поднимался. Вода затягивала причалы и сваи, лодки вставали с боков и начинали качаться, мальчишки с вёдрами давно разошлись. По правому берегу, где лежат янтарные отмели Кермареков, тянулись ровные ряды копанок — ям, в которых промывают донный песок; в сумерках вода в них блестела, как расколотая черепица. По левому темнели верфи Ардуэнов: три стапеля, и на двух не стояло ни одного корпуса. Между берегами, на скале у входа в залив, поднимался маяк, и над ним уже зажгли огонь.

А под маяком, у самого подножия, лежал Камень Возвращения.

та. Его заливало каждый прилив, и сейчас вода прошла по нему длинной пенной полосой.

Три года назад я стояла на том камне в рубахе ученицы, рядом с матерью-настоятельницей: кто дал показания, обязан присутствовать до конца. Мне было четырнадцать, белых перчаток у меня ещё не было, но на суде именно я первой разглядела нить Иво Ардуэна — вернее, то, что от неё осталось: два тусклых мёртвых обрывка, один у его запястья, другой у руки Гильдаса Кермарека, которому он клялся починить Гуэрнскую дамбу к осенним штормам. Дамба провалилась в первый же шторм. Сорок человек на нижних копанках не успели подняться.

В тот вечер его вели под руки двое стражников, хотя он мог идти сам. Крупный, седой, он ступал тяжело: ноги у него до колен уже пожелтели и почти не гнулись, потому что нарушенный обет начинается с того, что ближе к земле.

За стражниками шёл сын Иво. Тогда я впервые увидела Корантена Ардуэна близко. Ему было шестнадцать. Он не плакал и ни о чём не просил, и на отца, когда того привязывали к железному кольцу, глядел недолго.

Он смотрел на меня. Всё время, пока поднималась вода, его глаза не отпускали меня, и в его лице не было ни ярости, ни горя, а было что-то, чего я тогда не умела назвать. Внимание. Будто он запоминал меня, чтобы потом не ошибиться.

Через три дня я должна была вложить ему в ладонь янтарь и увидеть, как от его запястья протянется нить к руке

Леонор.

Я стянула перчатку, палец за пальцем, и посмотрела на свою ладонь. На ней ничего не было. Нити свидетельницы не видны даже ей самой, это первое, чему нас учат.

Над заливом ударил колокол маяка: полная вода.

Глава вторая. Мутная нить

Две бусины для обручения мать-настоятельница выбрала сама. Накануне вечером она вызвала меня в рабочую комнату, долго перебирала шкатулку на коленях, подносила янтарь к огню и откладывала, пока не нашла пару, которая её устроила: тёмно-медовую, почти без пузырьков, и светлую, с крошечной трещинкой у отверстия.

— Трещина ничего не значит, — она вложила их мне в ладонь и сжала мои пальцы своими, жёсткими и холодными. — Это старая бусина. Её выдерживали ещё при моей наставнице. Старый янтарь держит крепче.

— Кому какую давать?

— Тёмную — Кермарекам. Они любят, когда видно, что им дали лучшее.

Я не поняла тогда, шутит ли она.

Теперь бусины лежали в кошеле у меня на поясе, отдельно от остальных, в мешочке из некрашеного льна, и я трогала его через юбку так часто, что Мадлон, застёгивая мне пуговицы на манжетах, в конце концов хлопнула меня по руке.

— Перестань. Ты их протрёшь насквозь.

— Я проверяю, что они на месте.

— Они на месте. Ты проверяла, когда мы вставали, потом за умыванием и ещё на лестнице, — она затянула последнюю пуговицу и отступила на шаг, словно хозяйка, которая оце-

нивает пирог перед гостями. — Ты бледная, но это даже хорошо. Свидетельница не должна быть румяной. Румяным не верят.

— Кто это сказал?

— Я. Только что.

Мадлон была на год старше и на голову ниже меня, круглолицая, с вечно обветренными губами и привычкой говорить чепуху ровно тогда, когда мне это было нужнее всего. Я не знала, понимает ли она это сама.

— Мне сегодня надо будет смотреть на него вблизи, — у меня получилось тише, чем я рассчитывала.

Мадлон перестала поправлять мне воротник.

— На Ардуэна?

— Он стоял у Камня. Он меня помнит.

— Анаик, — она взяла меня за оба запястья, прямо поверх перчаток. — Ты дашь ему бусину, он скажет слова, ты увидишь нить. Ты делала это сорок раз с весны, и с людьми, которые тебя ненавидели, тоже. Помнишь вдову, которой ты заверяла раздел дома с деверем? Она плюнула тебе на подол.

— Она плюнула деверю. Я стояла рядом.

— Значит, она тебя не ненавидела, а просто плохо целилась, — Мадлон отпустила меня. — Иди. Лодка ждёт. Расскажешь, какое на Леонор Кермарек будет платье, я поспорила с Бенуазой на две бусины полировки.

* * *

До маяка плыть было меньше склянки. Гильдия держит

для таких поездок свою лодку, узкую, выкрашенную в белое, с двумя гребцами, которые за все годы службы, кажется, не сказали ни одного лишнего слова. Со мной ехала писарша — послушница Ивонна, тринадцатилетняя, с ящиком для табличек на коленях. Ей впервые доверили запись при наследниках, и она так старалась не показать волнения, что за всю дорогу ни разу не моргнула.

Утро выдалось ясное и злое. Ветер шёл с моря, гнал по заливу короткие крутые волны, лодку подбрасывало, и брызги летели через борт. Я сидела на корме, держала на коленях кошель, а перед нами вырастала скала маяка — чёрная, в белых потёках птичьего помёта, с лестницей, вырубленной прямо в камне.

У подножия, на плоской площадке, которую сейчас текала вода, лежал Камень Возврата. С лодки было видно железное кольцо, вбитое в него. Ивонна посмотрела туда и быстро отвела глаза, а я заставила себя не отводить.

Лодки Кермареков и Ардуэнов уже ждали у причала, конечно, по разные его стороны. Синяя, большая, с резной волной на носу и шестью гребцами в одинаковых куртках была хозяйская, с правого берега. Серая была ардуэнской — без резьбы, просмолённая так густо, что в солнце блестела, как мокрая. Её явно строили не для красоты, а для дела, и я подумала, что лучше эту семью не описать.

Сто сорок три ступени до зала Аэлиз я пересчитала ещё ученицей, в первый свой подъём. Сегодня было не до счёта.

На середине лестницы ветер стих, будто его выключили: скала прикрывала её от моря, и в этой внезапной тишине было слышно, как Ивонна пыхтит за моей спиной и как у меня в ушах стучит кровь.

Зал Аэлиз занимает основание башни. Он круглый, с низким сводом, и в нём всегда холодно. В стенах прорезаны узкие окна на четыре стороны света, а в середине пола вделан плоский янтарный круг шириной в два шага — тёмный, мутный, старый, с застывшими внутри пузырьками, похожими на рыбу икру. Говорят, на нём стояла Аэлиз, когда заключала обет с морем. На нём же приносят все обеты, которые касаются Прилива.

Смотритель маяка, старый Ланнек, встретил меня у входа. Он был сухой и сутулый, с бородой, жёлтой от трубочного дыма, и носил на шее ключ от фонарной, тяжёлый, как подкова.

— Свидетельница, — он заглянул мне за плечо, на Ивонну, и снова на меня. — Матушку Ортанс ждали.

— Матушка нездорова. Обручение заверяю я.

— Вот оно как, — он пожевал губами. — Ну, проходите. Там уже холодно с обеих сторон.

* * *

Кермареки стояли у восточного окна, Ардуэны — у западного. Между ними лежал янтарный круг, и никто не подходил к нему ближе чем на два шага, будто он был горячим.

Гильдаса Кермарека я помнила по суду. С тех пор он не

изменился: широкий, тяжёлый, с короткой седеющей бородой и голосом, который заполнял любое помещение раньше, чем он открывал рот. На груди у него висела цепь Хранителя Дамб — витое серебро и семь янтарных звеньев, по одному на каждый дом Совета. За ним стояли двое родичей в синем и пожилая женщина, которую я не знала.

И Леонор.

Я не видела её девять лет, если не считать праздников, когда наследница Кермарексов проезжала по Средней улице в открытой коляске, а я стояла в толпе послушниц. Тогда она была далеко. Сейчас — в десяти шагах, и я поняла, что совсем забыла, какая она.

Высокая, выше меня, с тёмной косой, уложенной вокруг головы, в платье цвета мокрого сланца без единого украшения. На фоне отцовского серебра это выглядело как вызов. У неё было то же лицо, что у той девочки, с которой мы прятались от кормилицы в сарае с сетями, только теперь на нём ничего нельзя было прочесть.

Она встретилась со мной взглядом и чуть наклонила голову. Не как наследница свидетельнице. Как человек, который узнал другого и пока не решил, что с этим делать.

Мадлон проиграла две бусины: платье было не синим.

Я повернулась к западному окну.

Ардуэнов было трое. Девушка лет шестнадцати, загорелая до черноты, в мужской куртке и юбке, подоткнутой, как у рыбачки. Должно быть, Гвенола — сестра и пожилой муж-

чина с одной рукой, в старом, но вычищенном камзоле.

И Корантен.

Он стоял чуть впереди, опираясь плечом о стену у окна, и когда я вошла, не выпрямился. Он вырос. Три года назад он был тощим мальчишкой с отцовскими плечами, на которые ещё неросло ничего. Теперь плечи стали его собственными. Тёмные волосы, мокрые от брызг, были зачёсаны назад, на скуле белел старый шрам, а руки, сложенные на груди, оказались руками человека, который работает: широкие, обветренные, с коротко остриженными ногтями. На левом запястье у него был намотан тонкий шнур с узлами — мерный, какие носят мастера дамб.

Он посмотрел на меня, и я узнала этот взгляд раньше, чем успела к нему приготовиться. Тот самый. Внимательный.

— Свидетельница Сальве, — у него был низкий голос, чуть хриплый от ветра. — Выросла.

Это было сказано так ровно, что Гильдас уловил в этом только дерзость. А я слышала всё остальное.

— Мастер Ардуэн, — я ответила не ему, а залу, и пошла к янтарному кругу. — Прошу стороны подойти.

* * *

Устав велит начинать с условий, и я начала с них. Ивонна раскрыла ящик, поставила на колено табличку, обмакнула стило в белые чернила.

Обручальный обет короче долгового и длиннее обета найма. Жених и невеста обещают друг другу брак в день пол-

ной воды Прилива Долга, у Маяка Аэлиз, при свидетельнице гильдии. До того дня оба обязуются не вступать в иные брачные обеты. Залогом с каждой стороны служит имя рода: нарушивший обет больше не сможет его носить и потеряет всё, что за этим именем стоит. Земли, голос в Совете, герб на воротах. Для дома, у которого и так почти ничего не осталось, это было последнее.

Я прочла условия вслух, медленно, и спросила каждую сторону, понятны ли они.

— Нам всё понятно, — Гильдас ответил за дочь, не дожидаясь, пока она откроет рот.

— Я спрашиваю наследницу.

Короткая пауза. Где-то за спиной Гильдаса один из родителей переступил с ноги на ногу.

— Понятны, свидетельница, — Леонор смотрела мне прямо в лицо. — Благодарю, что спросили меня.

— Мастер Ардуэн?

— Понятны. Все до одного.

Он ответил тем тоном, каким сообщают, что вода мокрая. Я достала льняной мешочек.

Тёмная бусина легла в ладонь Леонор. Светлая, с трещинкой, — в руку Корантена. Я коснулась его руки краем перчатки, совсем легко, и он не убрал руку, но пальцы у него сомкнулись на янтаре быстрее, чем нужно, будто он хотел поскорее спрятать его от меня.

— Сожмите в кулаке. Поднесите к губам. Говорите.

Леонор начала первой. Голос у неё был чистый и ровный, она ни разу не сбилась и ни разу не повысила тон, даже на словах о залоге. Я смотрела на её левое запястье. На второй фразе там проступила золотистая точка — яркая, плотная, без мутности, какие бывают у людей, которые решились за-долго до того, как пришли. Над её сжатым кулаком воздух дрогнул, и я почувствовала запах смолы. Бусина приняла её.

Тогда заговорил Корантен.

Он говорил так же твёрдо, как она, может быть, даже твёрже. Ни лишнего слова, ни пропущенного. Голос не дрогнул ни разу, рука у губ оставалась неподвижной. Если бы я закрыла глаза, я бы ему поверила — как и любой на моём месте.

Но я смотрела.

На его запястье ничего не появилось.

Я ждала. Иногда точка проступает поздно, у упрямых, у тех, кто внутри до последнего торгуется с собой. Я ждала третью фразу, четвёртую, слова о залоге. «Моё имя рода». Ничего. Под мерным шнуром была просто кожа, загорелая, с голубой жилкой. И запаха смолы от его кулака не было. Пахло только морем из окна.

А нить Леонор тем временем выросла. Она поднялась от её запястья, тонкая и золотая, и потянулась через янтарный круг туда, где должна была найти вторую руку. Я видела, как она дошла до Корантена. Как коснулась его запястья. Как скользнула по нему, будто по стеклу, не найдя, за что заце-

питься. Отпрянула. Качнулась в воздухе, слепо, как росток, который тянется к свету, а света нет. И начала гаснуть — от кончика к основанию, медленно, по волоску.

Корантен договорил и опустил руку.

В зале было очень тихо. Ивонна держала стило над табличкой, готовая записать то, что я скажу. Гильдас ждал. Леонор ждала. Однорукий старик у западного окна ждал, и Гвеннола рядом с ним ждала, и я впервые заметила, что девушка стоит, вцепившись в его рукав, так, что побелели пальцы.

А Корантен Ардуэн смотрел на меня, и в его лице не было ничего — ни страха, ни мольбы. Только то самое внимание. Будто он знал, что услышит, и хотел запомнить, каким голосом я это произнесу.

Он знал.

Мысль была такой ясной, что у меня похолодели ладони. Он знал, что нить не ляжет. Он пришёл сюда, взял бусину и произнёс слова, зная. Выходит, у него были на то причины, о которых мне не скажут. И сейчас всё зависело только от меня.

Есть три вещи, которые свидетельница может сказать после обета. Нас учат им в первый же год, вместе с буквами. «Вижу и помню» — обет лёг. «Не вижу» — обет не лёг, и тогда устав велит объяснить почему. Если человек произнёс слова как надо, а нити нет, ответов всего два: ложь в сердце или немота. Ложь бусина чувствует сразу и мутнеет, а янтарь у Корантена не помутнел. Значит, немота.

Скажи я «не вижу» — и через три дня, а может быть, и раньше, его поведут вниз по ста сорока трём ступеням. К кольцу. Тем же путём, которым вели его отца.

Скажи я «вижу и помню» — и я солгу при свидетелях на янтарном круге Аэлиз. А мой собственный обет, тот, что я дала при посвящении, говорит: не заверю того, чего не видела. Залогом в нём стоит моя жизнь. Я застыну раньше, чем лодка довезёт меня до города.

Есть ещё третья вещь, о которой вспоминают редко.

— Нить мутна.

Мой голос прозвучал в круглом зале громче, чем я хотела. Ивонна дёрнулась, и с кончика стила на табличку упала белая капля.

— Что? — Гильдас шагнул вперёд, к самому краю янтарного круга. — Что вы сказали?

— Нить мутна, мастер Кермарек, — я заставила себя не смотреть на Корантена. — Я вижу начало обета у наследницы. Вторую сторону я вижу плохо. Такое случается.

— С кем случается?

— Со свидетельницами. С нитями, — я сама удивлялась, насколько ровно звучит мой голос. — Второй свиток, двенадцатая строка: в год Прилива Долга море тянет нити, и обеты, данные в его тени, могут ложиться мутно. Мутная нить не заверяется и не отвергается. Она проверяется повторно перед исполнением обета той же свидетельницей.

Строка была настоящей. Я помнила её, потому что в две-

надцать лет, когда меня засадили за устав в наказание за болтовню на молитве, я сделала в ней ошибку и начинала весь свиток заново. Ни разу за мою жизнь никто не применял её на деле. Но она была.

— Когда? — Гильдас понизил голос, и это было хуже, чем если бы он закричал. — Когда проверяется?

— В день Прилива, здесь, у Маяка, перед браком. Через тридцать семь дней.

— Тридцать семь дней, — он повернулся к западному окну. — Ардуэн. Что ты сделал?

— Взял янтарь и сказал слова, — Корантен даже не оттолкнулся от стены. — Как и ваша дочь. Спросите свидетельницу, если сомневаетесь в моих.

— Я сомневаюсь во всём, что касается вашего дома.

— Знаю. Это у вас давно.

Один из родичей Гильдаса положил руку на пояс, где висел короткий нож, и однорукий старик у западного окна сделал то же самое, только у него на поясе не было ничего. Я видела, как Гвенола по одному разжимает пальцы на его рукаве.

— Отец, подождите.

Леонор не повысила голоса. Она просто встала между Гильдасом и янтарным кругом, так, что ему пришлось бы её отодвинуть, чтобы пройти.

— Свидетельница сказала, что моя нить видна. И что по уставу это допустимо. Вы сами просили гильдию прислать

именно её, — Леонор не обернулась ко мне, но я почувствовала, что каждое слово она говорит и для меня тоже. — Если вы сейчас оспорите её слово, вы пойдёте против собственного выбора. Весь город узнает об этом к вечерней воде. Вы этого хотите за тридцать семь дней до Прилива?

Гильдас долго смотрел на дочь. Потом на меня. Я выдержала, хотя мне очень хотелось посмотреть себе под ноги.

— Я напишу матери-настоятельнице, — он произнёс это тихо, почти ласково. — Сегодня же.

— Это ваше право, мастер Кермарек.

— Да. Моё.

Он отвернулся к окну. Родичи сомкнулись вокруг него. Леонор осталась стоять, где стояла, и, прежде чем вернуться к своим, посмотрела на меня ещё раз — долгим, оценивающим, совсем не детским взглядом, в котором я, кажется, впервые различила вопрос.

* * *

Бусины после обета свидетельница собирает сама. Это последнее действие заверения, и в нём нет ничего торжественного: протягиваешь руку, и тебе отдают янтарь.

Леонор вложила мне в ладонь свою, тёмно-медовую, ещё тёплую. Я поднесла её к свету из окна. Внутри застыла короткая золотая жилка — обрубок, начало нити без продолжения. Половина печати. Если её увидит другая свидетельница, она скажет то же, что сказала я: мутно. Для того, кто не знает, где искать, этого хватит.

Потом я подошла к Корантену.

Он не сразу разжал пальцы. Мы стояли близко, ближе, чем когда я подавала ему янтарь, и я видела, что у него на виске бьётся жилка, а вокруг глаз, тёмно-серых, как вода в пасмурный день, легли совсем не юношеские морщины от прищура. Ветер на дамбах, солнце, работа. От него пахло дёгтем и мокрой шерстью.

Потом он раскрыл ладонь.

Светлая бусина с трещинкой лежала на ней точно так же, как я её положила. Я взяла её. Она была холодной — не так, как стынет янтарь, который подержали и отпустили, а мертво, словно её только что вынули из воды. Внутри не было ничего. Ни жилки, ни обрывка, ни тени.

— Зачем ты это сделала? — он спросил одними губами, так тихо, что даже Ивонна в трёх шагах не могла услышать.

Я промолчала. Я опустила бусину в льняной мешочек, затащила шнурок и только тогда подняла на него глаза.

— Вашу печать я оставляю при себе до повторной проверки, мастер Ардуэн. Так велит устав. Мутные печати не сдаются в архив.

Это тоже было правдой. Мутные печати хранит свидетельница, которая их принимала, — в личной шкатулке, под своим замком. Кроме неё, никто не имеет права их открывать.

Он смотрел на меня очень долго. Потом медленно, словно проверяя, не обманывают ли его собственные пальцы, распустил узел на мерном шнуре и затащил его снова, на ладонь

выше.

— Понимаю, — ответил он вслух, для всех. А тише, только для меня, добавил: — Нет. Не понимаю.

— Я тоже, — у меня вырвалось раньше, чем я успела себя остановить.

У выхода меня снова ждал Ланнек. Он стоял, привалившись к косяку, и вертел в пальцах незажжённую трубку.

— Пятьдесят два года я здесь, — смотрел он не на меня, а на янтарный круг у меня за спиной. — Видел прошлое обручение перед Приливом, мальчишкой ещё, и сотни обетов попроще. Мутных на этом круге не случалось ни разу.

— Значит, сегодня случилось впервые, мастер Ланнек.

— Выходит, что так, — он сунул трубку в карман. — Только вы, свидетельница, поосторожнее с этим словом. Море его слышит.

Я хотела спросить, о чём он, но Ивонна уже топталась на лестнице, а снизу кричали гребцы, что пора отваливать, пока ветер не переменится.

* * *

Обратно мы плыли против ветра, и гребцы налегали на вёсла, так что лодка шла рывками. Ивонна сидела, прижав к себе ящик с табличками, и косилась на меня всю дорогу. Наконец она не выдержала:

— Свидетельница, а мутная — это как?

— Это когда видно не всё.

— А так бывает? Я никогда не слышала.

— Теперь услышала, — я смотрела на воду. — Запиши всё, что я говорила, дословно и сдай табличку сестре Бенуазе. Больше никому.

— А матушке?

— Матушке я расскажу сама.

Ивонна прижала ящик крепче и опять уставилась на меня. Тринадцатилетние девочки прекрасно слышат, когда взрослые что-то недоговаривают, и совсем не умеют это скрывать.

Я обернулась.

На причальной площадке под маяком, у самой воды, стоял человек. Синяя лодка Кермарексов уже отошла и разворачивалась к правому берегу. Серая ардуэнская ещё стояла у причала, и на её корме сидела Гвенола, а однорукий старик отвязывал конец. Корантен стоял в стороне, у Камня Возврата. Вода уже подбиралась к его сапогам, и он не отступал. Отсюда невозможно было разобрать лица, но я знала, куда он смотрит.

Он мог бы отплыть сразу. Он мог бы сесть в лодку и уйти за Внешнюю дамбу, за створ, на острова, где никто не знает его имени и никому нет дела до нитей. Его ничто не держало — в этом и был весь ужас. Ни один обет на свете не мог его удержать.

Он стоял у Камня, на котором утопили его отца, и смотрел вслед лодке, в которой сидела я.

Я сунула руку в кошель и нащупала через лён светлую бусину. Даже сквозь перчатку и ткань она была холодной.

Тридцать семь дней.

Глава третья. Архив нитей

Письмо Гильдаса Кермарека оказалось в Янтарном дворе раньше меня. Его привёз верховой, пока наша лодка ещё бо-ролась с ветром у Внешней дамбы, и когда я поднялась по Отмельной лестнице, сестра Бенуаза уже ждала у ворот, сложив руки в рукавах.

— Табличку, будь добра, — она протянула ладонь Ивонне, не глядя на меня.

Ивонна отдала ящик и посмотрела на меня через плечо Бенуазы словно её уводили на казнь вместо меня.

— А вы, свидетельница, к матушке. Она у себя. Не в рабочей, в келье.

— Ей хуже?

Бенуаза ответила не сразу. Она вообще никогда не отвечала сразу, и за девять лет я так и не поняла, обдумывает она слова или просто даёт собеседнику помучиться.

— Ей холодно, — сестра наконец повернулась к лестнице.
— Не задерживайте её долго.

* * *

Келья матери-настоятельницы была меньше моей. Узкая кровать, сундук, полка с тремя книгами, жаровня у изголовья, которую кто-то натопил так, что от углей тянуло сухим жаром, как от летней дороги. Ортанс лежала под двумя одеялами и пледом, и поверх всего этого — под рукой, на груди

— белел развёрнутый лист.

— Садись на сундук, — она не стала приподниматься. — Табурет унесли, мне здесь нечем дышать.

Я села. Сундук был низкий, и мне пришлось смотреть на неё снизу вверх.

— Хранитель Дамб пишет, что ты оскорбила его дом, — Ортанс приподняла лист двумя пальцами и снова опустила. — Что ты пожалела Ардуэнов, потому что совесть тебя гложет за отца. Что ты слишком молода и тебя надо заменить. И что, если гильдия этого не сделает, Совет может спросить, нужны ли ему свидетельницы, которые не умеют разглядеть нить на янтаре Аэлиз. Последнее, впрочем, он пишет иначе. Он пишет очень вежливо.

— Да, матушка.

— Что ты видела?

Я ждала этого вопроса всю дорогу. Я перебирала ответы на лестнице, у ворот, в коридоре. И всё равно, когда он прозвучал, у меня пересохло во рту.

Солгать матери-настоятельнице нельзя. Это не обет, это хуже: это всё, на чём стоит гильдия. Если свидетельница лжёт старшей, она больше не свидетельница, даже если её нить на это не отзовётся.

— Я видела начало нити у наследницы Кермарек, — я смотрела на жаровню. — Ясное и чистое. Нить пошла через круг ко второй стороне.

— Говори дальше.

— Она не нашла, за что зацепиться.

Ортанс молчала. Угли в жаровне тихо щёлкали.

— Не нашла, — она повторила это медленно, словно про-
бовала слово на вес. — И ты решила, что это море.

— Двенадцатая строка говорит, что в год Прилива...

— Я знаю, что говорит двенадцатая строка. Я её не приме-
няла ни разу, и моя наставница тоже. Её писали, когда Аэлиз
ещё помнили живые, — она наконец повернула ко мне голо-
ву. — Тот, кто первым за сто лет вспоминает двенадцатую
строку, обычно знает больше, чем говорит.

Я молчала. Это был единственный честный ответ, кото-
рый у меня оставался.

— Покажи бусины, — Ортанс протянула руку поверх оде-
яла. Пальцы у неё были жёлтые, почти прозрачные на кон-
чиках, и чуть подрагивали.

Я отвязала льняной мешочек и вытряхнула ей на ладонь
тёмную бусину Леонор. Она поднесла её к глазам, к самому
огню, повертела. Я видела, как она находит обрубок жилки
внутри, как следит за ним до того места, где он обрывается.

— Половина, — она произнесла это без удивления. — А
вторая?

— Мутные печати остаются у свидетельницы, которая их
приняла. Под её замком до повторной проверки.

— Я мать-настоятельница. Я могу их потребовать.

— Можете, матушка.

Это было всё, что я сумела сказать. Если она потребует, я

отдам. Тогда она возьмёт в руки холодный янтарь и поймёт всё сама, без меня, и тогда я ни в чём не буду виновата, кроме того, что тянула время. Почему-то от этой мысли стало не легче, а гаже.

Ортанс разглядывала меня до тех пор, пока я не почувствовала, что щёки у меня горят — от углей, конечно, от чего же ещё. Потом она вернула мне бусину Леонор.

— Храни обе, — Ортанс закрыла глаза. — Это твои печати. Ты их приняла, тебе за них и отвечать.

— Да, матушка.

— Хранитель Дамб получит ответ, что гильдия не меняет свидетельниц по просьбе тех, кому не по душе их слово. Это правда, и это ему не понравится, — уголки её губ дёрнулись, но улыбки не получилось. — А теперь слушай внимательно, Анаик. В день Прилива ты встанешь на тот же круг. Ты дашь ему тот же янтарь. И если нить снова окажется пустой, двенадцатая строка тебе больше не поможет. Ты скажешь «не вижу». При Совете, при обоих домах и перед морем. Ты понимаешь, что будет после этого?

— Понимаю, матушка.

— Нет, — Ортанс не открыла глаз. — Пока не понимаешь. Но у тебя есть тридцать семь дней, чтобы понять. Иди.

У двери я обернулась. Она лежала неподвижно, только губы шевелились — то ли молитва, то ли счёт.

* * *

В тот вечер я не пошла на ужин. Сказала Бенуазе, что бо-

лит голова, и это была не совсем ложь: у меня в висках с самого маяка стучало, будто туда забили по гвоздю.

Моя келья в восточном крыле: окно на залив, кровать, стол, крючок для плаща и маленький сундук с замком, ключ от которого я ношу на шнурке под рубашкой. Такой есть у каждой свидетельницы. В нём мы храним мутные печати, личные записи и то немногое, что у нас есть своего. У меня там лежали письмо от брата, написанное два года назад кривыми буквами, отцовский нож для разметки янтаря и деревянная рыбка, которую вырезала мне кормилица, когда мне было пять.

Теперь там лежали ещё две бусины. Я не стала их убирать. Я сидела на кровати и держала светлую, с трещинкой, на ладони, без перчатки.

Янтарь, который пролежал на холоде, тёплый на ощупь, это знают все дети на побережье. Поэтому его и любят: он не обжигает зимой. Эта бусина была холодной, как речной камень. Я сжала её в кулаке и держала, пока не заныли пальцы. Она так и не согрелась.

Как может человек не держать слова?

Не в том смысле, в каком не держат его пьяницы и должники, — те нарушают, и янтарь их за это наказывает. А совсем. Так, чтобы клятва скатывалась с него, как вода с промасленной кожи. Чтобы он мог пообещать что угодно любому встречному и уйти, и ничто в мире не потянуло бы его назад.

Нам рассказывали о немых на третьем году учёбы. Сестра Бенуаза вела этот урок, и я помню его почти дословно, потому что в тот день шёл град и мы сидели при свечах. Немые рождаются раз в два-три поколения. Их узнают по первому обету: бусина остаётся холодной. Немой страшен не тем, что лжёт, — лгут все. Он опасен тем, что на его лжи нельзя построить ничего. Ни торговли, ни брака, ни присяги. Город, где живёт немой, похож на дамбу с червоточиной: снаружи камень, а внутри вода уже ищет дорогу.

Поэтому их возвращают морю. Устав говорит, что это не казнь. Море не наказывает, оно забирает своё.

Корантен Ардуэн стоял у Камня Возврата и смотрел мне вслед.

В дверь постучали, и я едва не уронила бусину.

— Это я, — Мадлон просунула голову в щель, не дожидаясь ответа. — Бенуаза говорит, у тебя голова болит. У меня есть отвар от головы. И ещё сыр, я стащила с кухни. Отвар гадкий, сыр хороший. Можешь начать с сыра.

Я успела сжать кулак. Мадлон вошла, поставила на стол кружку и положила рядом завёрнутый в тряпицу кусок, а потом уселась на край кровати, как садятся люди, которые не собираются скоро уходить.

— Ну? — она подалась ко мне. — Какое платье?

— Серое, представь себе.

— Серое? — На лице Мадлон отразилось искреннее горе. — Наследница Кермарексов, на обручении перед Приливом

— в сером?

— Цвета мокрого сланца. Без украшений.

— Значит, я должна Бенуазе две бусины, — Мадлон помолчала. — Хотя нет. Бенуаза ставила на синее. Мы обе проиграли. Значит, никто никому ничего не должен, и это лучшая новость за неделю, — она посмотрела на мой кулак. — А что у тебя там?

— Ничего особенного.

— Анаик, я же вижу.

— Печать. Мутная. Мне велели хранить.

Мадлон смотрела на меня, и я видела, как она решает, спросить или нет. Мы дружили с тех пор, как я пришла в гильдию, и она знала, что у меня бывает лицо, при котором лучше не спрашивать.

— Ладно, — она встала. — Выпей отвар. Он правда гадкий, но помогает. А если захочешь рассказать — я в соседней келье и сплю очень чутко. То есть нет, я сплю как убитая, но для тебя проснусь.

Когда за ней закрылась дверь, я разжала пальцы. На ладони остался красный след от бусины, и в середине — белое пятнышко, будто я сжимала лёд.

* * *

Я не собиралась идти в архив. Я сказала себе это трижды: допивая отвар, который и вправду оказался гадким, задувая свечу и потом, в темноте, слушая, как прилив бьётся о скалу под окном. А потом колокол маяка ударил малую воду, пол-

ночь, и я поняла, что встаю, одеваюсь и ищу на ощупь ключ от архива.

Свидетельницы носят ключи от архива нитей с первого дня в перчатках. Ходить туда ночью нельзя, но запрет держится не на замке, а на привычке. Мне ни разу не приходило в голову его обойти. Сегодня я уже нарушила одну строку устава у Рыбного спуска и выбрала другую у янтарного круга. Третья, кажется, ничего не меняла.

Мне нужно было увидеть печать Иво Ардуэна. Три года я её не открывала, хотя знала, где она лежит.

Архив нитей занимает подвалы Янтарного двора — три длинных сводчатых зала, вырубленных прямо в скале. Там всегда одинаково холодно, зимой и летом, и пахнет смолой и сухим камнем. Вдоль стен от пола до свода тянутся полки, на полках стоят ящики, в ящиках, в гнёздах из войлока, лежат печати. Каждая — обет. Долги, наймы, браки, присяги, разделы наследства. Три века обещаний Кер-Ис-Мора, разложенные по годам.

Старые печати тускнеют. Жилка в бусине, которой двести лет, похожа на волос, застрявший в мёде, и разглядеть её может не всякая свидетельница. Но она держится, пока жив хоть один из давших обет, а после смерти обоих гаснет ровно, от краёв к середине, и тогда бусину переносят в дальний зал, к таким же погасшим. Сестра Бенуаза зовёт третий зал кладбищем. Послушницы зовут его кладовкой и бегают туда секретничать, потому что ночница туда не заглядывает.

Я спустилась без фонаря. Лестницу я знала наизусть, а внизу всегда горит одна лампа у двери, для порядка. Её свет доставал до начала первого зала, дальше начиналась темнота, в которой тускло поблёскивали ряды ящиков, будто там притаились тысячи маленьких глаз.

Я взяла лампу и пошла вдоль полок. Год триста двенадцатый, одиннадцатый, десятый. Шаги отдавались под сводами так гулко, что я пошла медленнее, ставя ногу с носка. Девятый. Здесь, на третьей полке снизу, справа, стоял ящик судебных печатей. Я знала это место, потому что три года назад сама его надписала, потому что ученицам поручают такую работу, и потому что мать-настоятельница решила, что мне полезно.

Я присела перед полкой и поставила лампу на пол.

И услышала, что в соседнем зале кто-то есть.

Звук был совсем тихий: шорох войлока, скрип ящика, который выдвигают из гнезда. Так скрипят наши ящики, если тянуть их неровно. Потом — тишина. Потом снова шорох, чуть дальше.

Ночница? Сестра, которая обходит двор после полуночи, никогда не спускается в архив. Да и зачем ей шарить по полкам в темноте?

Я задула лампу.

Темнота упала на меня целиком, как мокрое одеяло. Несколько ударов сердца я не видела вообще ничего. Потом глаза привыкли, и я различила в соседнем зале слабый, при-

крытый свет. Кто-то пришёл с фонарём, у которого задвинута шторка, и пустил из щели узкий луч. Луч скользил по ящикам. Останавливался. Двигался дальше.

Он искал год триста двенадцатый.

Я поднялась, держась за полку, и пошла на свет. Не знаю, что было у меня в голове. Скорее всего, ничего: иначе я побежала бы наверх и подняла весь двор. Но ноги несли меня в соседний зал, а в кармане юбки лежали, тяжелее обычного, две бусины в льняном мешочке.

Он стоял ко мне спиной у полки текущего года, высокий, в тёмной куртке, и одной рукой держал фонарь, а другой перебирал ящики. Я узнала его раньше, чем он обернулся, — по одним плечам.

— Её там нет, — шёпот у меня получился хриплым.

Он развернулся так быстро, что луч фонаря ударил мне прямо в глаза. Я зажмурилась. А когда открыла их, он был уже рядом, и его пальцы сомкнулись на моём запястье — не больно, но так, что вырваться я бы не смогла.

— Тихо, — Корантен не повысил голоса. — Не кричи.

— Я и не кричу.

— Ты собиралась.

— Если бы собиралась, уже закричала бы.

Он не отпустил меня. Он стоял так близко, что я чувствовала запах дёгтя и мокрой шерсти, и ещё чего-то сырого, подвального, будто он долго шёл по туннелю. С волос у него капало.

— Как ты сюда попал?

— Через сток, — он ответил словно это было очевидно.

— Под вашей мастерской идёт водосток к обрыву. Мой дед его перекладывал. Решётку там никто не менял сорок лет.

— Это архив гильдии. Если тебя здесь найдут...

— Меня найдут в любом случае. Через тридцать семь дней или раньше, если ты решишь, что так будет вернее, — он наконец отпустил запястье, но не отошёл. — Где она?

— Кто — она?

— Моя бусина. Ты сказала, что оставишь её у себя. Я решил, что «у себя» значит здесь, под твоим именем. Я думал, если её не станет, тебе нечего будет показать.

— И что тогда?

— Тогда твоё слово против моего, — он чуть повёл плечом. — Я немой, свидетельница, но не дурак. Слово гильдии весит больше слова Ардуэна, это я знаю. Но против одной девчонки, которую Кермарек сам выбрал и которая уже раз ошиблась...

Он не договорил. Не из жалости: её в нём не было ни капли. Просто ему не нужно было договаривать.

— Я не ошиблась, — это вырвалось у меня раньше, чем я подумала.

— Конечно, не ошиблась.

— Я видела его нить. Она была порвана.

— Я знаю, что ты видела. Ты сказала это на суде трижды, под янтарём. Три раза одно и то же, — голос у него стал со-

всем тихим. — Тебе было четырнадцать. Ты стояла на табурете, чтобы тебя было видно из-за стола.

Табурета в моей памяти не было. Был только зал суда и лицо Иво, которое не менялось, пока я говорила. А табурет — нет.

— Её здесь нет, — я повторила, потому что не знала, что ещё сказать. — Мутные печати не сдают в архив. Они у свидетельницы. В её сундуке, под её замком.

Он смотрел на меня. Свет из щели фонаря падал вниз, на пол, и лицо его было почти в темноте, только скула со шрамом белела.

— Тогда она у тебя.

— Да, у меня.

— Прямо сейчас?

Я могла соврать. Я могла сказать, что она наверху, в келье, и тогда ему пришлось бы лезть в восточное крыло, где спят двадцать свидетельниц, и он бы, конечно, не полез. Вместо этого я сунула руку в карман и вытащила льняной мешочек.

Он перестал дышать. Я это слышала.

— Отдай её мне.

— Не отдам.

— Анаик...

Он впервые назвал меня по имени, и от этого почему-то стало хуже, чем от «свидетельницы».

— Если печать пропадёт, — я говорила медленно, стараясь, чтобы голос не дрожал. — Я должна буду заявить об

утрате. Матери-настоятельнице и Совету. Будет дознание. Спросят, какая это была печать и почему мутная. Её станут искать. Гильдас Кермарек первым делом спросит, кому выгодно, чтобы её не нашли.

— Ему выгодно.

— Нет. Тебе. И все это поймут.

Он промолчал. Он не сводил глаз с мешочка у меня в руке, как приговорённый с петли.

— Зачем? — Корантен повторил вопрос, который задал мне на маяке, только теперь в нём не было удивления. Была злость. — Зачем ты это сделала? Ты могла сказать «не вижу». Кермарек был бы счастлив, гильдия была бы чиста, а меня бы уже не было. Ты бы закончила то, что начала три года назад. Чего ты ждёшь?

— Не знаю.

— Врёшь, и сама это знаешь.

— Не вру, — я сжала мешочек так, что бусины стукнулись друг о друга. — Я не знаю, что было передо мной сегодня. Зато знаю, что видела три года назад. А ещё я знаю, что ты тогда смотрел на меня так же, как сегодня. И что ты знал, что нить не ляжет, и всё равно пришёл. Я не понимаю зачем. А я не люблю того, в чём не могу разобраться.

— Свидетельница, — он почти улыбнулся. — Тебе мало того, что ты видишь. Тебе надо ещё понимать.

— Да. Надо.

— А тебе? — я сама не ожидала, что спрошу. — Тебе что

нужно?

Он помолчал. Луч из-под шторы дрогнул: должно быть, он переложил фонарь в другую руку.

— Чтобы мой отец не остался тем, кем его сделали. И чтобы Гвенола не потеряла за три года отца и брата одним и тем же способом. Больше ничего.

Сверху, со стороны лестницы, донёсся звук. Тихий, мерный: шаги в мягких туфлях и позвякивание ключей на кольце. Ночница. Она шла по коридору над нами, и если дверь архива окажется незапертой — а я её не заперла, — она спустится посмотреть.

Корантен задвинул шторку фонаря. Нас накрыла темнота.

— Сюда, быстро, — его рука нашла мой локоть, и он потянул меня в проход между полками, узкий, в один шаг, где ящики стояли так тесно, что пахли не смолой даже, а пылью. Мы оказались зажаты между двумя стенами из печатей, лицом к лицу. Я чувствовала, как поднимается и опускается его грудь. Моя щека почти касалась его мокрой куртки.

Дверь наверху скрипнула. По ступеням пополз жёлтый свет.

Ночница остановилась на третьей ступени. Я слышала её дыхание — старое, с присвистом. Сестра Фаншон, ей было за шестьдесят, она ходила по двору ночами, потому что всё равно не спала. Свет лампы лизнул пол первого зала, полки, мою брошенную, задутую лампу у ящика девятого года.

— Кто здесь? — голос Фаншон был не испуганным, а

ворчливым.

Ни я, ни Корантен не шевелились. Его пальцы всё ещё лежали на моём локте, и я чувствовала через ткань, как они застыли — хуже, чем бусина в мешочке.

Фаншон постояла. Пробормотала что-то про девчонок, которые забывают лампы где попало. Спустилась ещё на две ступени, подняла лампу повыше, посветила вдоль первого зала — и, не увидев ничего, пошла обратно. Дверь скрипнула снова. Ключ провернулся в замке.

Она нас заперла.

Я выдохнула так шумно, что Корантен вздрогнул.

— У меня есть ключ, — успела я прошептать, прежде чем он что-нибудь сказал. — Изнутри тоже открывается.

— А мне не нужно, — в его голосе слышалось что-то похожее на смех. — Я пришёл не через дверь.

Он отпустил мой локоть и отступил из прохода. Шторка фонаря чуть приоткрылась, и луч снова лёг на пол — узкий, жёлтый, между нашими ногами.

— Завтра, — Корантен смотрел не на меня, а на мешочек, который я всё ещё сжимала. — На верфях. После вечерней воды, у третьего стапеля. Того, где ничего нет. Приходи одна.

— А если не приду?

— Тогда я пойму, что ты решила, — он помолчал. — И уйду за створ, пока не поздно. Ты ведь знаешь, что меня ничто не держит.

— Знаю, мастер Ардуэн.

— Вот и хорошо. Значит, хоть что-то обо мне ты знаешь точно.

Он ушёл к дальней стене третьего зала. Я слышала, как он что-то отодвигает, как скрипит железо, как в лицо мне вдруг потянуло сыростью и морем из водостока. Потом звук стих, и холодный ток воздуха тоже.

Я осталась одна в темноте с мешочком в кулаке.

Когда я снова зажгла свою лампу от фитиля у двери и вернулась к полке девятого года, руки у меня тряслись так, что я дважды уронила ключ. Ящик судебных печатей стоял на месте. Я выдвинула его, нашла гнездо с надписью, которую сама же вывела три года назад ученическим почерком, — «Иво Ардуэн, Гуэрнская дамба, нарушение» — и долго смотрела на бусину в войлоке. Обычная, медового цвета, размером с горошину.

Я так и не взяла её в руки. Я задвинула ящик обратно, заперла за собой дверь и поднялась к себе. До рассвета я лежала, глядя в потолок, и держала под подушкой холодный янтарь, который не грелся.

Глава четвёртая.

Договор без янтаря

Левый берег начинается сразу за паромной пристанью, и первым встречает запах. Правый отдаёт мокрым песком и деньгами: там копанки, лавки скупщиков, конторы, где взвешивают янтарь на весах с медными чашками. На левом пахнет дёгтем, пенькой и стружкой, а ещё рыбьим клеем, который варят прямо во дворах в чёрных котлах. Здесь строят лодки, вьют канаты, конопатят борта, и почти всё это делают для Ардуэнов или делали раньше, когда у этого дома водились деньги.

Паромщик, сухой старик в кожаном фартуке, взял с меня зерно и не стал спрашивать, что свидетельнице нужно на этом берегу в сумерках. Он только посмотрел на мои перчатки, потом на воду и вздохнул словно видел меня насквозь и ничего хорошего там не нашёл.

Весь день я провела как обычно. Заверила утром два найма в Среднем городе и один раздел огорода между братьями, которые всю церемонию не смотрели друг на друга, а потом, получив печати, вдруг обнялись. Отнесла таблички в архив, днём, при свете, как положено. Ящик девятого года стоял на своём месте. Я прошла мимо, не останавливаясь.

Мадлон за обедом пыталась заговорить со мной о погоде,

о Бенуазе, о новой послушнице, которая боится темноты, и каждый раз я отвечала невпопад. На четвёртый раз она просто подвинула мне свою лепёшку и больше ничего не спрашивала.

Перед тем как идти к парому, я всё-таки спустилась в архив. Днём туда можно: свидетельницы берут старые записи, когда заверяют наследства, и никто не спрашивает, что именно ты ищешь. Я попросила у сестры-архивщицы суд девятого года, и она, не поднимая глаз от своих счётов, указала на полку.

Записи суда над Иво Ардуэном занимали двадцать две таблички. Половину из них вела я — ученическим почерком, с кляксами, которые мать-настоятельница велела не стирать, потому что запись суда не исправляют. Я читала свои собственные слова и не узнавала их. «Нить разорвана. Концы тусклые. Разрыв полный». Три раза, на трёх табличках, как и сказал Корантен. На табурете или нет — этого там не было.

Остальное писал старший писарь Совета. Гильдас Кермарек показал: обет о починке дамбы дан весной, к осенним штормам, при свидетельнице Ортанс Ле Беррук, залог — жизнь. Мастер Ардуэн отвечал, что дамба починена в срок, работы закончены и он сам проверял каждую сваю. Трое копальщиков с нижних копанок, которые успели подняться, говорили одно: вода пришла ночью, сразу, стеной, без обычного шума перед прорывом.

И короткая запись в самом конце, которую я тогда, наверное, не заметила, потому что её писали уже после приговора: «Старшина работ Лоэ Кервен в суд не явился. Утонул при прорыве. Вдова его, Нолвенн Кервен, допрошена быть не может по причине болезни».

Я переписала имя вдовы на клочок бумаги и спрятала в перчатку.

Тридцать шесть дней.

* * *

Ардуэнские верфи тянутся вдоль берега на полторы сотни шагов. Три стапеля — три наклонных деревянных ложа, по которым спускают на воду готовые корпуса, — уходят в залив, как пальцы руки, опущенной в воду. На первом стояла недостроенная рыбацья лодка с белыми, ещё не просмоленными рёбрами. Второй был пуст, но чисто подметён, и на нём лежали сложенные доски. Третий выглядел будто на нём уже давно ничего не строили и не собирались: подпорки посерели от ветра и брызг, между досками пробилась трава, а у самой воды висел оборванный канат, который никто не потрудился убрать.

Корантен сидел на краю третьего стапеля, свесив ноги над водой, и сращивал два конца толстого троса. Пальцы у него двигались быстро и ровно, без единого лишнего движения, будто думали отдельно от него. Рядом лежали деревянная свайка и нож.

Он не поднял головы, когда я подошла, хотя доски под

моими ногами скрипели на всю верфь.

— Ты пришла одна? — спросил он у троса.

— Одна, как ты просил.

— Паромщик видел.

— Паромщик видит всех. Он брал у меня зерно.

— Он видит всех, — согласился Корантен. — И говорит только моей сестре. Это хорошо, — он затянул последнюю прядь, проверил стык на разрыв, отложил трос и только тогда повернулся. — Садись. Тут сухо.

Я не села. Я стояла в трёх шагах от него, в перчатках и плаще гильдии, на ардуэнской верфи, в сумерках, и понимала, что если меня здесь кто-нибудь увидит, объяснять придётся долго.

— Где твоя сестра?

— На лодке, у мыса. Если что-то случится, она будет здесь раньше, чем ты добежишь до парома, — он не угрожал, просто сообщал. — Она не знает, зачем ты пришла. Знает только, что придёшь.

— А ты знаешь?

— Догадываюсь, — он помолчал. — Ты принесла её?

Я достала из кармана льняной мешочек и вытряхнула на ладонь светлую бусину. На закате янтарь всегда кажется теплее, чем днём, — в нём собирается красный свет. Этот казался просто камнем.

Корантен смотрел на бусину, не протягивая руки.

— Можно мне её подержать?

Я отдала её. Он взял бусину двумя пальцами и поднёс к глазам, против заходящего солнца, так же, как это делала мать-настоятельница. Он долго вертел её, ища то, что, конечно, было бесполезно искать, и я вдруг поняла, что он никогда раньше этого не видел. Пустую печать. Свою.

— Внутри ничего нет, — он произнёс это тихо, словно не мне, а самому себе.

— Совсем ничего.

— А что должно быть?

— Жилка, — я не знала, зачем объясняю. — Тонкая, золотая. Как волосок, только светится. Начинается у одного края, у того, где касалась кожа, и уходит в глубину. У наследницы Кермарек она обрывается посередине.

— Значит, у Леоно́р есть половина.

— У Леоно́р есть половина.

Он вернул мне бусину. Пальцы у него, когда он коснулся моей ладони, были тёплые, в отличие от ночи в архиве, и пахли смолой от троса.

— Мне было двенадцать, — Корантен снова отвернулся к воде. — Мы с Ивом-младшим, сыном конопатчика, поспори́ли на ножик, что я переплыву залив до мыса. Ив сказал, что так не считается, если без бусины. Мы стащили две у старой сестры Эльвины. Она жила тут, на берегу, давно ушла из гильдии, полуслепая уже, но ещё заверяла для своих, задёшево. Мы попросили её, она засмеялась и согласилась. Ив сжал бусину, и у него она стала тёплой, я видел, он показы-

вал. А моя нет.

Он говорил ровно, без пауз, словно читал опись груза.

— Эльвина долго держала мою руку у самого лица. Потом отпустила, ничего мне не объяснила, отослала нас домой. А вечером пришла к отцу. Я подслушивал за дверью. Она назвала ему, кто я. Объяснила, что по уставу должна донести. И что не станет, потому что ей семьдесят лет и она слишком стара, чтобы ещё раз видеть, как топят ребёнка, — Корантен подобрал свайку и стал вертеть в пальцах. — Через полгода она умерла. Отец взял с меня слово никогда больше не брать в руки янтарь при свидетельнице. Без янтаря, конечно. Он знал, что другое на меня не ложится.

— И ты держал?

— Семь лет, — он повернул голову ко мне. — Пока Совет не прислал отцу письмо, что брак наследников перед Приливом — долг обоих домов. А потом отца утопили, и такое же послание пришло мне.

— Ты мог отказаться.

— Мог. Дом Ардуэн лишился бы имени, верфей, голоса в Совете. Сестра — приданого и будущего. Сорок человек, которые у нас трудятся, — заработка. А город остался бы без брака перед Приливом, — он дёрнул плечом, но в этом не было ничего лёгкого. — Говорят, тогда море придёт. Не знаю, правда ли это. Я никогда не видел, как оно приходит.

— А если бы ты пришёл и тебя раскрыли?

— Тогда тонул бы только я, — от того, как просто это про-

звучало, мне стало холодно. — Я выбрал вариант, где тонет меньше людей. Отец научил меня считать.

Над заливом пролетели чайки, низко, к ночлегу на скалах. У мыса, далеко, качался на воде огонёк — фонарь на мачте. Его сестра ждала.

— Почему ты не уплыл? — я спросила это прежде, чем решила, стоит ли. — Вчера. Ты стоял у Камня. Твоя сестра держала лодку. Ты мог уйти за створ, и тебя бы никто не догнал.

— Мог, конечно.

— Почему не ушёл?

Корантен смотрел на меня так долго, что я успела пожалеть о вопросе.

— Потому что тогда отец навсегда останется тем, кем его сделали, — он ответил медленно. — Человеком, нарушившим обет, из-за которого утонули сорок душ. Его имя будут пугать детей. А я буду жить на островах под чужим, и никто никогда не узнает правды. Это хуже, чем Камень.

— Какой правды?

— Что он не нарушал.

Я ждала этого. Я знала, что он это скажет, ещё в архиве, когда он назвал мою ошибку «конечно». И всё равно у меня внутри что-то сжалось, как бусина в кулаке.

— Я видела его нить, — мой голос стал твёрже, чем мне хотелось. — Порванную. Два конца, у него и у Кермарека.

— Ты видела, что она порвана, — он не стал спорить. —

Но не знаешь, почему.

— Нить рвётся, когда нарушают обет. Другого не бывает.

— Так написано в твоём уставе.

— Так есть.

— Ты в этом уверена, свидетельница? — Корантен наклонился вперёд, опершись локтями о колени. — Так же уверена, как была вчера утром в том, что у каждого человека, который берёт в руки янтарь, появляется нить?

Мне нечего было ему ответить. Я стояла на краю старого стапеля, и вода у его подножия шлёпала о сваи, и где-то в посёлке за верфями кричала женщина, сзывая детей домой.

* * *

Мы заговорили о деле, когда совсем стемнело. Корантен зажёл фонарь, поставил его на доски между нами, и я наконец села — не рядом с ним, а напротив, на старый ящик из-под гвоздей. Подол сразу промок, но мне уже было всё равно.

— Давай посчитаем, — он и правда загибал пальцы. — Ты скрыла немого на круге Аэлиз. Если об этом узнают, тебя саму выведут из гильдии. Или хуже, я не знаю, что у вас делают за такое. Это первое. Второе: я могу сказать об этом кому угодно — Кермареку, Совету, твоей матушке.

— Не можешь. Сначала тебе придётся признаться, что ты немой.

— Верно. Поэтому я не скажу, — он загнул третий палец. — Ты можешь в любой день до Прилива пойти к матушке и отдать ей бусину. Тогда меня утопят, а тебя похвалят за осто-

рожность. Но ты этого не сделаешь, потому что тогда никогда не узнаешь, зачем я пришёл на маяк. А тебе надо понимать.

— Ты меня совсем не знаешь.

— Я три года думал о тебе каждый день, — он не опустил глаз. — Не так, как тебе сейчас могло показаться. Я думал, что скажу тебе, если встречу. Перебрал сотню слов. Знаю тебя хуже, чем хотел бы, но лучше, чем ты думаешь.

От этого признания мне стало не по себе — и почему-то не только от страха.

— Чего ты хочешь? — спросила я.

— Чтобы ты пересмотрела дело отца. Не на суде — сама. Достань его печать, посмотри на неё по-настоящему. Подними записи. Поговори с людьми, которые были на дамбе. Тебе они выложат то, чего мне не открыли бы даже под янтарём.

— А если я посмотрю и увижу то же самое?

— Тогда скажешь мне. И я больше не буду тебя ни о чём просить.

— А ты? — я подалась вперёд. — Что ты дашь мне взамен?

Корантен посмотрел на фонарь.

— Через тридцать шесть дней ты встанешь на тот же круг, и нить снова будет пустой. Ты это знаешь. Двенадцатая строка не спасёт тебя дважды. Тогда тебе придётся сказать «не вижу». Или солгать и застыть.

— Знаю, не напоминай.

— Значит, тебе тоже нужен выход. Способ скрепить Прилив без моей клятвы. Я не знаю, есть ли он. Но знаю, кто его искал.

— И кто же?

— Мой отец, — Корантен развязал шнур на запястье и протянул мне. Мерный шнур, тонкий, просмолённый, с узлами через равные промежутки. — Последний год перед дамбой он почти не спал. Ходил под городом, по старым водостокам, по фундаментам. Говорил, что первые дамбы Кер-Ис-Мора ставила Аэлиз, и что она строила их не так, как теперь. Он что-то нашёл. Не объяснил мне что. Обещал только рассказать, когда будет уверен. Через неделю дамба прорвалась.

Я не взяла шнур. Он так и держал его на раскрытой ладони, между нами, над фонарём.

— И что я должна с ним делать?

— Ничего. Это не залог, — он мотнул головой. — Залог на меня не ложится, ты сама видела. Это просто вещь. Отцовская. Узлы на нём завязывал он, и замеры Гуэрнской дамбы тоже его. Если я тебя обману, отнеси шнур Кермареку. Он знает, чей это. Он поймёт, что я был с тобой, и что-нибудь придумает.

— Это не удержит тебя.

— Нет, — он согласился легко, почти весело. — Ничто меня не удержит, свидетельница. Ни янтарь, ни шнур, ни Камень. Тебе придётся мне верить.

— Я не умею.

— Чему тебя тогда учили девять лет?

— Проверять всё.

— Вот, — Корантен положил шнур на доски рядом с фонарём, раз я не брала его из рук. — А теперь проверить не получится. Придётся по-другому.

Я смотрела на шнур. На нём было двадцать узлов, я пересчитала. Последний был затянут иначе, двойным, с хвостиком, как вяжут на память.

— Я заверила сорок обетов с весны, — я обращалась к шнуру, не к нему. — Сорок нитей. Я видела каждую. Я ни разу в жизни не заключала договора, который нельзя проверить.

— Я тоже, — Корантен ответил так тихо, что я едва слышала за плеском воды. — У меня их вообще никогда не было. Все мои договоры — с людьми, которые не знали, кто я. Ты первая, кто знает и всё равно сидит напротив.

Фонарь потрескивал. Вокруг него вились мелкие мошки, которых в это время года уже не должно было быть, и одна села мне на перчатку. Я сдула её.

— А ты почему в гильдии? — Корантен спросил это без всякого перехода, будто давно собирался. — Свидетельниц ведь не набирают по объявлению.

— Меня отдали.

— Кто?

— Отец, — я смотрела на мошек. — Он был копальщиком

на отмелях Кермареков. Взял в долг на лодку, чтобы выйти из найма и сборщиком работать на себя. Лодку разбило в первый же сезон. Долг рос. Тогда он заключил новый обет с Янтарным двором: гильдия покрывает его долг, а он отдаёт ей ребёнка. Меня. Мне было восемь.

— Он знал, что ты видишь нити?

— Я тогда ещё не видела. Это проявляется позже, у одной послушницы из десяти. Остальных учат на писарш, на ключниц, на полировщиц. Отцу просто нужно было кого-то отдать, а брат был младенцем.

— А брат теперь на копанках.

— Отец умер, когда Эрвану было восемь. Долг перешёл на него, как положено по обету, — я пожала плечами, хотя мне было совсем не всё равно. — Девять кругов. Три года работы. Или выкуп.

Корантен ничего не говорил какое-то время. Потом поднял с досок свайку и положил её обратно, ровно на прежнее место.

— Значит, ты тоже залог, — в его голосе не было жалости. Просто отметил, как отмечают глубину на мерном шнуре.

— Я свидетельница.

— Ты свидетельница, которую отдали в залог за лодку, — он чуть наклонил голову. — Это не одно и то же, но и не совсем разное.

* * *

Мы договорились, сидя по разные стороны фонаря на гни-

лом стапеле. Ни бусин, ни слов при свидетелях, ни залогов. Я перечислила условия вслух, по привычке, как на заверении, и он слушал, не перебивая.

Я не выдаю его до дня Прилива.

Я пересматриваю дело Иво Ардуэна: печать, записи суда, свидетелей прорыва.

Он помогает мне найти то, что искал его отец, — способ скрепить Прилив без его клятвы.

Мы не лжём друг другу. Если один из нас решит отступить, он скажет об этом другому заранее.

Последнее предложил Корантен. Я сначала не поняла, зачем.

— Чтобы было честно, — он объяснил это, не глядя на меня. — Раз меня нельзя наказать за нарушение, пусть меня хоть можно будет предупредить.

— Это бессмысленно. Ты можешь соврать и об этом.

— Могу. Но если не совру — ты будешь знать, что я не вру.

Я взяла шнур. Он оказался тяжелее, чем выглядел, и пах дёгтем. Я намотала его на запястье поверх перчатки, неумело, и Корантен, посмотрев на это, молча взял мою руку и перевязал — двумя быстрыми движениями, туго, но не больно.

— На дамбе так носят, — он отпустил мою руку. — Чтобы не потерять в воде.

— Я не собираюсь в воду.

— Никто не собирается, — Корантен поднял фонарь и

встал. — Завтра я покажу тебе Гуэрнскую дамбу. Прилив поздний, к полудню на отмели можно пройти посуху. Сможешь?

— Мне надо будет придумать заверение на правом берегу.

— Ну так придумай.

Он проводил меня до самого берега, держась шагах в пяти позади, будто случайный прохожий, и остановился в тени канатного навеса, когда паромщик заметил нас. Я поднялась на паром одна. Старик опять ничего не спросил.

На середине залива я обернулась. Огонька у мыса уже не было. Верфи лежали в темноте, и только на третьем стапеле ещё горел фонарь, который никто не уносил.

А на корме парома, у самого руля, сидел мужчина в синей куртке, которого я не заметила, когда садилась. Меня он будто не замечал и глядел на воду. На груди у него, на шнурке, висела маленькая янтарная волна — знак, который носят слуги дома Кермарек.

Я спрятала руку со шнуром под плащ и до самой пристани не шевелилась.

На берегу он сошёл первым, не оглядываясь, и свернул в переулок к Рыбному рынку. Может быть, ему просто нужно было на правый берег, как и мне. Может быть, он даже не знал, кто я такая. Но белые перчатки свидетельницы на пароме в сумерках, после вечерней воды, когда все заверения давно закончены, — такое не забывают. И Гильдасу Кермареку не нужно было много, чтобы сложить два и два.

По Отмельной лестнице я поднималась бегом. Шнур на запястье тёр кожу через перчатку и пах дёгтем всю дорогу до кельи.

Глава пятая. Дом над отмелями

Приглашение принёс мальчишка в синей куртке на расвете, когда я ещё не успела умыться. Он стоял у ворот Янтарного двора, переминаясь с ноги на ногу, и держал письмо обеими руками, словно оно могло укусить. Сестра-привратница передала его мне вместе с сообщением, что внизу, на дороге, ждёт коляска.

Почерк был не Гильдаса. Ровные, наклонные, очень красивые буквы, какими пишут секретари. «Хранитель Дамб просит свидетельницу Анаик Сальве почтить его дом визитом сегодня утром, дабы обсудить порядок церемонии в день Прилива». И ниже, другой рукой, крупно и коротко: «Жду. Г. К.».

— Тебе обязательно ехать? — Мадлон заглянула мне через плечо и поморщилась. — Пусть сам приезжает. Ты свидетельница, а не его кухарка.

— Порядок церемонии положено обсуждать с домами.

— Порядок церемонии положено обсуждать с матушкой.

— Матушка не встаёт.

Мадлон посмотрела на меня, на письмо, снова на меня. Потом сняла с себя шерстяной шарф, серый, вязанный, с распустившейся петлёй на конце, и обмотала мне шею поверх воротника плаща.

— В коляске продует, — объяснила она в ответ на мой

взгляд. — И вообще, пусть видит, что за тобой кто-то при-
сматривает.

* * *

Дом Кермареков стоит на круче над отмелями, так что из его окон видно весь правый берег до самого мыса — ряды копанок, промывочные лотки, сараи скупщиков, тачки, людей. Говорят, его построили на этом месте нарочно, чтобы хозяин мог за завтраком пересчитать своих копальщиков. Я не знаю, правда ли это. Но окна там огромные, из настоящего стекла, а не из рыбьего пузыря, как в Среднем городе, и все они смотрят вниз.

Меня провели через холл, где на стенах висели старые карты залива, по лестнице с резными перилами и оставили в комнате, которую секретарь называл кабинетом. Здесь было тепло и пахло воском. На длинном столе у окна стояли весы с медными чашками, лежали лупы, щипцы, стопки бумаг. А вдоль стен, на полках, в стеклянных коробках, хранилась коллекция, о которой я слышала, но никогда не видела.

Янтарь с жизнью внутри.

В одном куске застыла муха с прозрачными крыльями, так целиком, что казалось, она вот-вот взлетит. В другом — паук, вцепившийся лапами в собственную нить. Листок папоротника. Пёрышко. Пузырёк воздуха, внутри которого, если присмотреться, дрожала капля воды.

Я переходила от одной витрины к другой и не могла оторваться. Наш янтарь в мастерской был чистым — мутным,

светлым, тёмным, но всегда пустым. Свидетельницы отбраковывают куски с «соринками», как говорит Бенуаза, и продают скупщикам. Я никогда не задумывалась, куда они уходят.

— Нравится вам? — поинтересовался он.

Я обернулась. Гильдас Кермарек стоял в дверях, и я не слышала, как он вошёл, хотя он был грузным человеком в подкованных сапогах.

— Мастер Кермарек.

— Сорок лет собираю, — он прошёл к столу, не глядя на полки. — Отец начал, я продолжил. Ваша гильдия считает, что янтарь с начинкой испорчен. Для обетов, может быть. Но покупатели за морем платят за него втрое. Им нравится смотреть на то, что не успело убежать.

Он сел в кресло у стола и жестом указал мне на второе, напротив. Я села. Между нами оказались весы.

— Не буду тратить ваше время на порядок церемонии, — Гильдас сложил руки на животе. — Он известен триста лет, его знает каждый писарь. Мы оба это понимаем. Давайте поговорим о мутной нити.

— Я сказала всё, что могла, у маяка.

— Вы сказали всё, что хотели. Это не одно и то же, — голос у него был мягкий, почти отеческий, и от этого становилось только неуютнее. — Свидетельница, я не враг вам. Напротив. Это я просил, чтобы обручение моей дочери заверяли именно вы. Ваша мать-настоятельница, кажется, решила,

что я хотел свести счёты с Ардуэнами вашими руками. Она ошиблась. Я хотел честного свидетеля. Я его получил.

— Тогда вас должно устраивать моё слово.

— Оно меня устраивает. Мне не нравится, что вы произнесли его наполовину.

Он взял со стола щипцы и повертел их в пальцах.

— Двенадцатая строка, — Гильдас произнёс это словно пробовал на вкус незнакомое вино. — Я посылал вчера за старым уставом. Мой секретарь нашёл её. Очень интересная строка. По ней нить в год Прилива может лечь мутно. А почему — ни слова. Ваша гильдия всегда очень аккуратна с причинами, — он положил щипцы. — Но я торговец, свидетельница, и в причинах разбираюсь лучше, чем в молитвах. Когда товар приходит мутным, это значит, что его разбавили. Или что продавец что-то скрывает. Море тут ни при чём.

— Это ваше мнение.

— Это мой опыт, — он подался вперёд. — Скажите мне честно, между нами. У моей дочери нить ясная, вы это подтвердили. Мутная — у Ардуэна. Почему?

— Я не могу говорить о причинах до повторной проверки. Устав...

— Устав, — Гильдас наклонил голову словно я сказала что-то очень трогательное. — Хорошо. Тогда я скажу, а вы просто послушайте.

Он встал и подошёл к окну. Отсюда, сверху, копанки казались аккуратными серыми прямоугольниками, расчерчен-

ными канавами, а люди на них — мелкими, как буквы на табличке.

— Ардуэны лгали этому городу триста лет, — он говорил, не оборачиваясь. — Их предок погубил Мор-Ис. Их отец отправил на дно сорок моих людей. Их сын пришёл на маяк, взял бусину и произнёс слова, а янтарь от него отвернулся. Вы это заметили, свидетельница. Я не знаю, что именно было перед вашими глазами, но знаю, что было. Я видел ваше лицо.

Я молчала. Сердце у меня колотилось где-то в горле, и я держала руки на коленях, чтобы он не заметил, как они дрожат.

— Есть строка устава, которую вы знаете лучше двенадцатой, — Гильдас повернулся. — Ложь в сердце мутит янтарь. Если вы напишете, что нить жениха мутна по этой причине, обручение будет расторгнуто по его вине. Дом Ардуэн потеряет имя рода. Таков залог. Всё, что за этим именем стоит, — верфи, земли, голос в Совете — отойдёт по закону к той стороне, которую обманули. К нам.

— А Прилив?

Он растянул губы. Впервые за весь разговор.

— Обету Аэлиз нужна кровь двух берегов. Не фамилия, а кровь. Мой двоюродный племянник вырос на левом берегу, его мать была оттуда. Он вполне годится. Совет согласится, я в этом уверен.

— Совет — это вы сами.

— Совет — это семь домов. Но я говорю в нём громче остальных, это правда, — Гильдас снова сел. — И вот ещё что. Мать-настоятельница больна. Вы знаете это лучше меня. Когда её не станет, новую выберут Старшие вместе с Советом. Так написано в уставе вашей гильдии, свидетельница, — в восьмом свитке, если вам интересно. И первое, что будет решать новая настоятельница, — кого из молодых возвести в Старшие.

Он открыл ящик стола, достал что-то и положил на чашку весов. Чашка со звоном опустилась. Девять серебряных кругов, один на другом.

— Ваш брат, кажется, должен моему дому девять кругов.

Я смотрела на стопку серебра. Она была совсем маленькой. Меньше моей ладони. Эрван работал за неё на копанках с восьми лет, по колено в ледяной воде, в любую погоду.

— Это не подкуп, — Гильдас говорил всё так же мягко. — За ложь платят иначе. Я прошу вас сказать правду. Просто раньше и до конца.

Я встала. Колени были ватными, но держали.

— Мастер Кермарек, устав запрещает называть причину мутной нити до повторной проверки. Я её назову в день Прилива, у Маяка. При вас, при Совете и при Ардуэнах. Раньше — нет.

Он смотрел на меня снизу вверх, и в его лице не было злости. Только терпение. Так смотрят на ребёнка, который отказывается от лекарства, потому что оно горькое.

— Как скажете, — он не стал вставать. — Серебро лежит здесь. У меня нет привычки забирать обратно то, что я однажды выложил, — Гильдас взял лупу и поднёс её к стеклянной коробке с мухой. — Тридцать пять дней — долгий срок, свидетельница. Особенно для девушки, которая катается на пароме после вечерней воды. Левый берег в сумерках опасен. Там легко поскользнуться.

* * *

Секретарь проводил меня до лестницы. Внизу, у дверей в сад, ждала Леонор.

Она была одета просто — в тёмное шерстяное платье и короткий плащ, волосы заплетены в одну косу, без короны вокруг головы. Так она выглядела младше и больше походила на ту девочку, которую я помнила.

— Я провожу свидетельницу до коляски, — Леонор обращалась к секретарю, не ко мне, и тот послушно поклонился и исчез. — Пройдём садом, — теперь она обращалась ко мне. — Так короче.

Это было неправдой. Сад Кермареков спускался террасами по склону, к самым отмелям, и садовой дорожкой до ворот было втрое дальше, чем двором. Но я пошла.

Мы молчали до второй террасы. Здесь росли низкие, скрюченные от ветра яблони, и под ними лежали неубранные падалицы, коричневые, сладко пахнущие. Леонор подобрала одно яблоко, повертела и бросила за ограду.

— Он предложил тебе серебро, — она не спрашивала.

— Ты подслушивала?

— Мне незачем. Я знаю отца, — она пошла дальше по тропинке. — Он всегда начинает с коллекции. Показывает мух в янтаре. Потом говорит что-нибудь мягкое. Потом кладёт на весы деньги. Если человек их не берёт, он говорит про опасный левый берег, или про больную мать, или про брата. Смотря что у кого есть.

— Ты так спокойно об этом говоришь.

— А как я должна? — Леонор остановилась у края террасы. — Я его дочь. Я восемнадцать лет смотрю, как он это делает. Он очень хорош в этом. Почти никогда не ошибается.

Внизу, за оградой сада, начинались копанки. Отсюда, с третьей террасы, они были ближе, чем из окна кабинета: люди стояли по колено в воде, с лопатами и решетками, мокрые спины, серые от ила рубахи. Один мальчишка, тощий, коротко стриженный, вытаскивал из ямы ведро песка, почти с него ростом.

Я узнала его не сразу, а когда поняла, кто это, у меня перехватило дыхание.

— Это Эрван.

— Я знаю, — Леонор встала рядом. — Я попросила старшину поставить его сегодня на ближнюю копанку. Подумала, ты захочешь его увидеть. Я не знаю, когда вы виделись в последний раз.

— На прошлый Праздник Отлива, — у меня дрогнул голос. — Полгода назад. Нам дают час.

Эрван вывернул ведро в промывочный лоток, вытер лицо рукавом и, кажется, на секунду поднял голову к дому. Видел ли он нас? Вряд ли. Мы стояли за ветками яблонь, а внизу никто никогда не смотрит вверх подолгу: старшина не любит.

— Зачем ты это сделала? — я не могла отвести глаз от брата.

— Чтобы ты поняла, что отец знает, на что давить. И чтобы ты знала, что я знаю, — Леонор говорила ровно, без всякого выражения. — Это честнее, чем если бы он сам повёл тебя сюда. А он бы повёл. Не сегодня, так через неделю.

Я повернулась к ней. Она смотрела не на меня, а на копанки, и её профиль на фоне серого неба был очень чётким, будто вырезанным.

— Что тебе от меня нужно, Леонор?

— То же, что и ему. Правда, — она наконец посмотрела на меня. — Только мне она нужна для другого.

— Для чего?

— Чтобы знать, за кого я выхожу, — Леонор помолчала. — Я не люблю Корантена Ардуэна. Он не любит меня. Я видела его четыре раза в жизни, и трижды он говорил со мной о сваях. Это хорошо. Это честно. Брак перед Приливом — служба, а не сказка, мне это объяснили лет в десять. Но если с этим браком что-то не так... — она замолчала и долго подбирала слова. — Если нить у него мутна не от моря, я хочу узнать это от тебя. Не от отца, не от Совета, не у маяка при

всех. От тебя. И раньше, чем отец.

— Я не могу говорить о причинах.

— Знаю. Двенадцатая строка, — губы у неё чуть дрогнули. — Я тоже вчера читала устав. Не только отцовские секретари умеют искать.

Она протянула руку и одёрнула на мне шарф Мадлон, который сбился набок. Так естественно, будто мы снова были маленькими и она поправляла мне чепчик перед тем, как кормилица выведет нас гулять.

— Ты помнишь сарай с сетями? — я сама не знаю, почему спросила.

— Помню. Ты там застряла между бочками, и я тянула тебя за ноги, а ты орала так, что прибежал старый Жоэль с вилами. Думал, там лисица, — Леонор отпустила шарф. — Мне было семь, тебе шесть. Ты обещала мне, что больше не полезешь туда, где не пролезет кошка.

— И полезла через неделю.

— Через три дня, — она почти улыбнулась. — Я тогда решила, что тебе нельзя верить на слово. Потом тебя забрали, и сомневаться стало не в ком.

Мы постояли ещё немного. Внизу старшина свистнул, и копальщики, побросав лопаты, потянулись к сараю — наверное, на полуденный хлеб. Эрван шёл последним, волоча за собой пустое ведро.

— Коляска у нижних ворот, — Леонор отвернулась. — Я скажу отцу, что ты была вежлива и ничего не сказала. Это

правда, и ему этого достаточно, чтобы думать, что ты боишься.

— А я боюсь?

— Ты дрожала, когда спускалась по лестнице, — Леонор пошла вверх по тропинке, не оборачиваясь. — Я видела. И отец видел. Только он решил, что ты дрожишь от страха перед ним.

— А от чего ещё?

Она остановилась на ступеньке террасы.

— Не знаю, — Леонор ответила просто и, кажется, честно. — Но ты всегда дрожала не от того, от чего думали взрослые. Даже в сарае. Ты не застрять боялась, а того, что я тебя брошу и уйду.

Она ушла наверх, к дому. Я осталась у ограды одна.

Одна я пробыла недолго. По тропинке снизу, от копанок, поднимался мальчишка с ведром воды, которое ему, видно, велели отнести на террасы, и шёл он, по-копальщицки сгорбившись, не глядя по сторонам. У ограды он поднял голову, увидел меня — и ведро качнулось у него в руке так, что вода плеснула на сапоги.

— Анаик? — выдохнул он.

Вблизи он оказался ещё тоньше, чем сверху. Руки до локтей были в сером иле, ногти обломаны, под глазом желтел старый синяк. Но вырос: в последний раз он доставал мне до плеча, а теперь почти до уха.

— Тебя Кермареки позвали? — Эрван поставил ведро и

вцепился обеими руками в прутья ограды. — Это из-за маяка, да? Все говорят. Вчера в сарае только и было разговоров: свидетельница Сальве сказала Хранителю Дамб, что нить мутная, а он аж побагровел. Старый Тангуй говорит, он теперь тебя со свету сживёт. А я сказал, что не выйдет у него, потому что ты его не боишься.

— Я боюсь, — я просунула руку сквозь прутья и стёрла у него со щеки полосу ила. — Очень.

— Ну и что. Всё равно не сживёт, — он покосился на дом. — А правда мутная? Или ты специально? Тангуй считает — чтобы Ардуэнов прижать.

— Правда мутная.

— А у Ардуэна или у неё?

— Эрван, не надо, — оборвала я.

— Ладно, ладно, — он шмыгнул носом. — Нельзя. Знаю. Тайна гильдии, — помолчал и добавил тише: — А старшина на этой неделе добрый. Не бьёт. Это из-за тебя, наверное. Бойтся, что ты придёшь и что-нибудь заверишь ему поперёк.

У меня защипало в глазах, и я сделала вид, что смотрю на копанки.

— Эрван, ты помнишь прорыв на Гуэрне? Три года назад?

— Кто ж не помнит, — он перестал улыбаться. — Мы с отцом тогда на средних копанках были, нас не залило. А нижних всех. Мы потом неделю их из ила вытаскивали.

Я этого не знала. Он никогда мне не рассказывал, а я не спрашивала: в тот месяц я сама не могла говорить о Гуэрне.

— Что говорили после? Копальщики. Не на суде, между собой.

— Разное, — Эрван пожал острыми плечами. — Что Ардуэн проклят. Что море взяло долг раньше срока. А Тангуй говорил, только тихо, и то когда выпьет, что в ту ночь, перед прорывом, видел у свай лодку с фонарём. Маленькую. Будто кто-то что-то делал под дамбой. Но он тогда был пьяный, ему никто не поверил.

— А ты?

— Я тоже не поверил, — брат посмотрел на меня внимательнее. — А надо было?

Снизу свистнул старшина, протяжно и зло. Эрван вздрогнул, схватил ведро.

— Мне пора. Ты приходи на Праздник Отлива, ладно? А то в прошлый раз опоздала, и нам оставили полчаса вместо часа.

— Приду. Честное слово, без всякого янтаря.

Он уже бежал вверх по тропинке к дому, расплёскивая воду, и не обернулся. А я стояла у ограды и думала, что если Гильдас Кермарек захочет, он найдёт способ сделать так, что на следующий Праздник Отлива встречаться будет не с кем.

* * *

Коляска довезла меня до Янтарного двора. Я поднялась к себе, повесила шарф Мадлон на крючок и долго сидела на кровати, глядя на мерный шнур на запястье, который не сняла даже на ночь.

Был полдень. Отлив уже начался. Если Корантен не передумал, через склянку на Гуэрнской отмели можно будет пройти посуху.

Я переоделась в старое платье послушницы, тёмное и потёртое, надела поверх плащ, но без знака гильдии на плече, и вместо белых перчаток натянула простые шерстяные. В кошель положила четыре бусины — на случай, если кто-то спросит, куда я иду, и мне придётся что-нибудь заверить.

Сестре Бенуазе у ворот я сказала, что иду на правый берег, к копанкам, повидать брата.

Это была почти правда. А почти правды в последние дни у меня становилось всё больше.

Глава шестая. Гуэрнская дамба

Гуэрнская дамба отделяет нижние копанки Кермареков от открытого моря. Это самая южная из городских дамб и к тому же длиннейшая: от скального мыса Гуэрн до песчаной косы почти полмили, если идти по гребню. С суши она выглядит как невысокий земляной вал, поросший жёсткой травой, по которому можно гулять. С моря — как стена.

Я знала её с детства. Отец водил нас с матерью на гребень по праздникам, чтобы смотреть, как солнце садится в воду, и показывал пальцем на нижние копанки: вот там, говорил он, лучший янтарь на всём берегу, потому что ближе всего к морю. Через год после того, как меня забрали в гильдию, отца перевели на средние. А ещё через пять лет нижние залило.

Корантен ждал у старого лодочного сарая под мысом, там, где дамба упирается в скалу. Сарай давно бросили: крыша просела, ворота висели на одной петле, внутри пахло гнилыми водорослями. Он сидел на перевёрнутой бочке и чистил ножом короткий железный прут, и когда я подошла, посмотрел на меня словно не сразу узнал.

— Ты похожа на послушницу, которую выгнали за кражу хлеба, — заметил он наконец.

— Так и задумано.

— Получилось, — он поднялся и кивнул на пару сапог, стоявших у стены сарая, высоких, рыбацких, просмоленных

до колен. — Надень. Это Гвенолы, ей великоваты, тебе будут в самый раз. Внизу ил.

Сапоги действительно пришлись впору, хотя внутри ещё хранили чужое тепло и пахли рыбой. Я затянула ремни поверх юбки и почувствовала себя словно собираюсь не на прогулку, а на копанку. Корантен смотрел, как я вожусь с пряжками, но помогать не стал.

— Кермарек звал тебя сегодня, — он не спрашивал.

— Откуда ты знаешь?

— Паромщик видел коляску на правом берегу. Он сказал Гвеноле, она — мне, — Корантен убрал нож. — Что он хотел?

Я рассказала. Про коллекцию с мухами, про двенадцатую строку, которую Гильдас нашёл за ночь, про ложь в сердце, двоюродного племянника с левого берега и про то, кто будет выбирать новую мать-настоятельница. Про лодку с фонарём, которую старый Тангуй видел под дамбой в ночь прорыва, — тоже. Про девять кругов на весах я рассказала последним, и Корантен слушал, не перебивая, глядя куда-то мимо меня, на дамбу.

— И про паром, — я добавила под конец. — Он сказал, что левый берег в сумерках опасен.

— У него вчера был человек на пароме.

— Я видела.

— Я тоже, — Корантен наконец посмотрел на меня. — Поэтому я тебя и не провожал дальше канатного навеса. Хо-

тел, чтобы он видел, что ты уходишь одна.

— Он всё равно знает.

— Знает, что ты была на левом берегу. Не знает, с кем и зачем. Это разные вещи, — он помолчал. — Девять кругов — это мало. Он мог бы дать девяносто. Значит, он думает, что тебя купит не серебро, а брат.

— Меня никто не купит.

— Посмотрим, — насмешки в его голосе не было, но мне всё равно захотелось его ударить. — Брата твоего я видел на копанках. Тощий, рыжеватый, с синяком под глазом. Всё время дерётся с сыном старшины.

— Откуда ты...

— Я чиню их водоотводы каждую весну. Кермарек платит мало, зато исправно, — он пошёл к дамбе. — Идём. У нас меньше двух склянок до того, как вода повернёт.

* * *

Мы спустились с мыса по камням на морскую сторону дамбы, и я поняла, почему Корантен говорил про ил.

Отлив обнажил подножие дамбы на сорок шагов. Там, где во время прилива бились волны, теперь лежало дно — серое, блестящее, изрезанное мелкими протоками, по которым ещё стекала в море вода. Пахло так, как пахнет только то, что долго было под водой: йодом, тухлыми раковинами, чем-то сладковатым и тяжёлым. Вдоль подножия, как гнилые зубы, тянулся ряд старых свай — чёрных, обросших водорослями и ракушками, обломанных на разной высоте.

— Это ряж, — Корантен остановился на последнем сухом камне. — Основание дамбы. Сваи забивают в два ряда, между ними кладут булыжник, сверху глину и землю. Сваи держат кладку, кладка — глину, а глина — воду. Если сгниёт одна свая, ряж выдержит. Если три подряд — камень поползёт.

— Ты мне объясняешь, как строят дамбы?

— Я тебе объясняю, на что смотреть, — он спрыгнул в ил, и ноги ушли в него по щиколотку. — Иди по моим следам. Шаг в сторону — провалишься по колено.

Я пошла по его следам. Ил чавкал и тянул сапоги вниз, каждый шаг давался с трудом, и через двадцать шагов я уже дышала словно поднималась по маячной лестнице. Корантен шёл впереди легко, как по мостовой, и ни разу не обернулся проверить, иду ли я.

Дамба над нами была разной. Слева, со стороны мыса, тянулась старая кладка — тёмные глыбы в лишайнике, глина, из которой торчали корни. А дальше, шагов на сто, всё было другим: светлый камень, ровный, свежий, ещё без водорослей, и сваи под ним стояли новые, жёлтые, как воск.

— Это залатали после прорыва, — Корантен остановился. — Кермарек нанял каменщиков из-за моря. Хорошая работа, дорогая. Он рассказывал в Совете, что ему пришлось за неё заплатить из своего кармана, потому что Ардуэн не исполнил обет.

— А на самом деле?

— На самом деле Совет вернул ему каждый круг из го-

родской казны, — он пошёл дальше, туда, где старая кладка встречалась с новой. — Мне нужно не это. Мне нужно то, что осталось от отцовской починки.

На стыке старой и новой кладки сваи стояли не в ряд, а как попало, косо, некоторые совсем повалились. Это были остатки того, что выдержало прорыв, — края раны. Корантен присел перед одной из них и стал счищать ножом ракушки.

— Отец менял здесь сваи весной, — он говорил, не поднимая головы. — Двенадцать штук. Дубовые, из лиги за Гуэрном. Я сам ездил выбирать. Он клялся Кермареку, что дамба выдержит осенние шторма. Первый она перенесла, в начале месяца. А второй — нет. Ночью, без шума, сразу. Я тогда спрашивал себя каждый день, как так вышло. Дуб так быстро не гниёт. Даже в морской воде.

— Ты не смотрел тогда?

— Меня не пустили. После прорыва дамбу охраняли люди Кермарека, пока не приехали каменщики. А потом новые сваи забили прямо поверх старых. Я думал, отцовских тут не осталось совсем, — он счистил ещё одну полосу ракушек, и под ними показалось тёмное, твёрдое дерево. — Но эти три уцелели. Их не стали вытаскивать, только обрезали по верху. Я нашёл их весной, когда чинил водоотвод. И с тех пор ждал большого отлива.

— Почему не посмотрел сам?

Он повернул голову и посмотрел на меня снизу вверх.

— Потому что моё слово ничего не стоит, — прозвучало

это так просто, что у меня внутри что-то царапнуло. — Если я скажу, что нашёл здесь доказательство, все решат, что я его сделал сам. Мне нужен был свидетель. Не всякий. Тот, кому поверят.

Он отложил нож и поманил меня ближе.

Я присела рядом на корточки. Ил под коленями был холодный и мокрый, юбка сразу промокла насквозь, но я не обратила на это внимания. Корантен провёл пальцем по свае — снизу вверх, по той стороне, что смотрела в море.

Свая была обломана на высоте моего плеча. Излом был рваный, щепастый, как бывает, когда дерево ломается под тяжестью. Но ниже, на ладонь от ила, по дереву шла ровная тонкая линия. Я сначала приняла её за трещину. Потом за след от каната. А потом Корантен вставил в неё лезвие ножа, и оно ушло внутрь почти на всю длину.

— Её подпилили, — вырвалось у меня раньше, чем я поняла, что говорю.

— На три четверти, — он вытащил нож. — С морской стороны. Ниже, чем бывает вода при обычном отливе. Так, чтобы ряж держал, пока стоит спокойная погода, и сложился при первом сильном ударе. Вторая — так же. Я проверил прошлой весной, когда нашёл. Третья обломана ниже, не видно.

Я смотрела на распил. Он был очень ровный. Слишком аккуратный для пилы, которой работают плотники, — у тех зубья крупные, и дерево после них лохматится. Здесь срез

был гладкий, будто его не пилили, а прорезали, и по стенкам шли тонкие параллельные бороздки, как на раковине.

Я протянула руку и тронула край пропила кончиком пальца, прямо в шерстяной перчатке. Бороздки чувствовались даже через шерсть.

— Что там? — Корантен смотрел не на сваю, а на меня.

— Ничего особенного.

— Ты что-то увидела.

— Я не знаю, — я убрала руку. — Мне показалось.

— Анаик, — он не повысил голоса, но произнёс моё имя так, что я вздрогнула. — Мы договорились не лгать.

Я долго молчала. Вода в протоках вокруг нас уже не стекала в море, а стояла, и это означало, что очень скоро она пойдёт обратно.

— В мастерской так режут янтарь, — у меня пересохло во рту. — Крупные куски, которые нельзя расколоть. Берут проволоку, натягивают на лучок, сыплют на срез мокрый песок и водят туда-сюда. Режет не металл, а песок: он истирает. Срез получается гладкий и в бороздках. Вот таких.

Корантен смотрел на меня. Я видела, как он понимает. Сначала в глазах, потом в том, как у него напряглись плечи.

— Проволочная пила.

— Ею режут не только у нас, — я заговорила быстрее.

— Скупщики на правом берегу тоже. Резчики камня. Кто угодно, у кого есть проволока и песок.

— Кто угодно, — он повторил медленно. — И этот кто-

то приплыл ночью к дамбе на маленькой лодке с фонарём, её и видел пьяный Тангуй. И подпилил под водой дубовые сваи проволокой, на которую сыпал песок. Это не два удара топором, Анаик. Это работа на всю ночь. Может быть, на две. Под водой, при отливе, со светом, который нельзя показать с берега. Это делал не кто угодно.

— Это не гильдия.

— Я этого не говорил.

— Ты подумал.

— Да, — он не стал спорить. — Подумал. А ты?

Я промолчала. Я смотрела на бороздки на свае и думала о мастерской под стеклянной крышей, о корытах, о проволочных лучках, которые висят на стене у полировочных столов, по шесть штук, и которые никто никогда не пересчитывает.

* * *

Вода повернула, когда мы шли обратно.

Я не заметила, как это случилось. Только что протоки стояли неподвижно, а потом в них вдруг появилось движение, тихое, едва заметное, и рябь на поверхности побежала уже не к морю, а к дамбе. Корантен остановился так резко, что я едва не налетела на него.

— Быстрее, — голос у него был ровным, но я слышала в нём то, чего не слышала до сих пор. — Не беги. Иди за мной.

Мы пошли быстрее. Ил под ногами становился всё мягче, вода в протоках поднималась, и через десяток шагов она уже плескалась у щиколоток. До камней у подножия мыса оста-

валось шагов тридцать. Двадцать. Я смотрела на спину Корантена и старалась ставить ноги точно в его следы, но вмятины в иле заливало, и я перестала их различать.

На пятнадцатом шаге я провалилась.

Нога ушла вниз до колена, сразу, и ил сомкнулся вокруг сапога, как кулак. Я дёрнулась — и провалилась второй ногой. Холод поднялся по бёдрам, вода плеснула мне на юбку. Я попробовала вытащить ногу, и ил только плотнее обхватил её.

— Корантен! Я застряла!

Он обернулся. Увидел. И пошёл ко мне — не бегом, медленно, проверяя дно перед каждым шагом.

— Не дёргайся, — он остановился в шаге от меня. — Чем больше дёргаешься, тем глубже уходишь.

— Я не дёргаюсь!

— Ты дёргаешься, — он лёг на ил, животом, прямо в воду, и протянул мне руку. — Хватайся. Обеими. Не тяни ноги — откинься назад, ложись на спину, как в воду.

— Я не умею плавать.

На лице у него что-то мелькнуло — удивление, наверное, или ужас. Свидетельница, выросшая на побережье, которая не умеет плавать.

— Здесь не надо плавать. Здесь надо лежать. Ложись.

Я схватила его руку обеими своими и откинулась назад. Вода хлынула за воротник, ледяная, горькая, я вскрикнула, и он потянул. Не рывком, а медленно, ровно, как тянут сеть.

Ил держал, не отпускал, а потом вдруг с громким хлюпаньем сдался, и моя правая нога выскочила наружу — без сапога. Потом левая — в сапоге.

Он тащил меня по илу, как мешок, пока под нами не оказались камни, и только тогда отпустил.

Я лежала на спине на мокрых камнях у подножия мыса и смотрела в небо. Оно было серым, низким, и по нему летели чайки. Я была мокрая до нитки, в иле с головы до ног, на одной ноге у меня был сапог Гвенолы, а на другой — шерстяной чулок, весь серый. Где-то там, под водой, остался второй сапог.

Рядом, на камнях, сидел Корантен — мокрый и серый не меньше моего, и дышал так тяжело, что у него ходили плечи.

— Ты не умеешь плавать, — повторил он, глядя на воду.

— Свидетельниц не учат.

— Ты выросла на копанках.

— Меня забрали в восемь. Отец обещал научить летом.

Он помолчал. А потом вдруг рассмеялся — коротко, хрипло, совсем не так, как хохочут над шуткой. Скорее так, как люди, которые только что поняли, что живы.

— Гвенола меня убьёт за сапог.

И я тоже засмеялась. Не знаю почему. Наверное, по той же причине. Мы сидели на мокрых камнях, перемазанные илом, и смеялись, как дураки, пока вода у наших ног не поднялась до первого валуна и не лизнула мне пятку в мокром чулке.

* * *

С гребня дамбы было видно, как прилив закрывает отмель. Вода шла широко и спокойно, без волн, затягивая протоки, ил, обломанные сваи. Скоро от того места, где я провалилась, осталась только ровная серая гладь. Ещё через полсклянки исчезли и сваи.

Мы сидели на траве на гребне, спиной к копанкам. Корантен отжал куртку и разложил её на камне сушиться. Я отжала подол, сколько смогла, и обмотала босую ногу шарфом, который сняла с шеи, — не Мадлон, свой, тонкий.

— Кто знал, когда отец заканчивает починку? — я спросила это, глядя на воду.

Он ответил не сразу.

— Кермарек. Он принимал работу. Старшина Лоэ Кервен, он вёл бригаду и утонул в ту же ночь. Сам отец, — Корантен помолчал. — И свидетельница, которая заверяла обет. Обет был о сроке. Она знала срок.

— Матушка Ортанс.

— Да, она.

— Ей было сорок пять лет, у неё уже тогда не гнулись пальцы, — у меня получилось громче, чем я хотела. — Ты думаешь, мать-настоятельница гильдии ночью сидела в лодке под дамбой с проволочной пилой?

— Я думаю, что пилу не обязательно держать самой, — ответил он спокойно. — Но я ничего не утверждаю. Я просто перечислил, кто знал.

Я молчала. Ветер с моря трепал мокрые волосы, и я дро-

жала так, что стучали зубы.

— Вдова старшины, — я вспомнила клочок бумаги в перчатке. — Нолвенн Кервен. В записях суда сказано, что её не допросили, потому что болела. Она жива?

— Жива. Живёт за Рыбным рынком, у матери. Почти не выходит, — Корантен посмотрел на меня. — Я пытался к ней прийти, после суда. Она не открыла. Крикнула через дверь, что Ардуэнам ей сказать нечего.

— А свидетельнице?

— Не знаю. Свидетельнице, наверное, откроет, — Корантен поднялся. — Тебе надо домой. Ты замёрзла.

— Я не замёрзла.

— У тебя губы синие.

Он сказал это почти теми же словами, что Ортанс у очага, и я вздрогнула.

— Это от воды, — я подтянула колени к груди. — Хорошо хоть ты умеешь плавать.

— На дамбах иначе нельзя, — он смотрел, как вода закрывает последнюю сваю. — Летом научу. Если до лета доживём.

— Это обещание?

— У меня не бывает обещаний, свидетельница, — он ответил спокойно, без горечи. — Только намерения. Ты сама видела.

— Тогда намерение.

— Тогда намерение, — согласился он и подал мне руку.

Я её взяла.

Он довёл меня до сарая, отдал мой сухой плащ, брошенный там на бочку, и долго смотрел, как я пытаюсь натянуть на босую ногу уцелевший сапог Гвенолы, потом махнул рукой и вытащил из-под бочки свои старые башмаки — огромные, разношенные, на два пальца длиннее моей ноги.

— Набьёшь тряпками, — посоветовал он. — Дойдёшь.

— А ты?

— А я по камням пройду, тут недалеко, — Корантен посмотрел в сторону мыса, где за скалой, наверное, ждала лодка. — Анаик.

Я обернулась.

— Ты сегодня видела распил. Ты его узнала и сказала мне, — он не подошёл ближе. — Ты могла промолчать. Я бы не узнал.

— Мы договорились.

— Мы договорились без янтаря, — Корантен чуть наклонил голову. — Я думал, ты не умеешь.

Я не нашлась, что ответить. Он ушёл вдоль подножия мыса, перепрыгивая с камня на камень, и скоро скрылся за скалой.

Домой я шла в огромных чужих башмаках, набитых пучками сухой травы, мокрая, в иле, и всю дорогу видела перед собой ровный срез на дубовой свае и тонкие бороздки на нём.

Шесть лучков на стене мастерской. Их никто никогда не

пересчитывал.

Мадлон встретила меня в коридоре восточного крыла. Она посмотрела на мои башмаки, на подол, на волосы, слипшиеся от ила, — и ничего не спросила. Только ушла и через несколько минут вернулась с ведром горячей воды и большим куском мыла, сваренного на бараньем жиру, того самого, которым мы полируем бусины.

— Потом расскажешь, — она поставила ведро у моей двери. — Или промолчишь. Но башмаки выброси. От них несёт словно в них кто-то умер.

— Это чужие.

— Тогда верни, — Мадлон уже уходила. — И передай хозяину, что у него ужасный вкус.

Глава седьмая. Очистка

Неделю в мастерской мне назначили ещё в день Рыбного спуска, и наутро после Гуэрна я её начала. Мать-настоятельница не меняет своих решений, даже если с тех пор успело случиться обручение у Маяка Аэлиз, письмо Хранителя Дамб и две ночи без сна. Сестра Бенуаза встретила меня у дверей верхнего яруса с фартуком в руках и выражением лица, говорившим, что лично она назначила бы месяц.

— Корыто у восточной стены, — она сунула мне фартук. — Сырец с прошлого шторма. Мыть, отбирать, на столы не носить, пока мастер Матильда не посмотрит.

— Да, сестра.

— И перчатки снимите. Белые в жиру не отстираются.

Я сняла перчатки, впервые за полгода при людях. Руки без них казались голыми и чужими, как ноги без башмаков. Бенуаза проследила, чтобы я убрала перчатки в карман, и ушла, а я осталась одна у корыта, полного морской воды и мокрого песка, в котором поблёскивали жёлтые камешки.

Мастерская под стеклянной крышей похожа на теплицу, в которой вместо цветов растут янтарь. Свет падает сверху, белый, ровный, без теней, и в нём видно каждую трещинку на каждой бусине. Вдоль длинной стены стоят полировочные столы, за ними сидят послушницы и трут войлоком янтарь, сотни горошин, одну за другой. У жаровен в дальнем конце

работают сверлильщицы — у них лучковые свёрла и плошки с водой, чтобы янтарь не перегрелся и не треснул. Пахнет бараньим жиром, смолой и горячим железом.

А на стене над столом мастера Матильды висят пилы.

Я не смотрела на них первую склянку. Я мыла сырец, опускала руки по локоть в ледяную воду, набирала горсть песка, промывала в решете, вылавливала янтарь и раскладывала по трём кучкам — для обетов, для скупщиков, на выброс. Для печатей годится только чистый, без соринки, без трещин, размером не меньше горошины. Таких было мало. К концу склянки у меня занемели пальцы, а кучка для обетов была с ноготь величиной.

Потом я подняла голову и посмотрела на стену.

Шесть лучков. Деревянные рамы, согнутые дугой, как маленькие луки, и между концами натянута тонкая проволока, тусклая, местами рыжая. Они висели в ряд на вбитых в стену колышках, а под ними, на полке, стояли глиняные горшки с мокрым песком — серым, мелким, как мука. Всё было именно так, как я рассказывала Корантену. Ничего особенного. Самые обычные инструменты, которыми режут крупный янтарь, если его надо разделить на части.

Я никогда не видела, чтобы ими пользовались ночью.

— Свидетельница Сальве сегодня наказана или задумалась?

Мастер Матильда подошла ко мне незаметно, как подходят все под этой крышей: здесь шумят только свёрла, а люди

ступают тихо, чтобы не толкнуть стол. Она была старой, старше Ортанс, низенькой и широкой, с руками, похожими на корни, и никогда не носила перчаток. Свидетельницей она не была. В мастерской работают те, у кого дар так и не проявился, и Матильда пришла сюда послушницей пятьдесят лет назад и с тех пор не уходила.

— Наказана, мастер, — я снова опустила руки в воду.

— А смотрела на пилы.

— Я подумала, что никогда не видела, как ими режут.

Матильда хмыкнула и взяла из моей кучки бусину, которую я отобрала для обетов. Повертела, поднесла к свету и бросила в кучку для скупщиков.

— Трещина внутри. Смотреть надо не как свидетельница, а как мастерица. Вам видна нить, а нам — камень, — она вытерла пальцы о фартук. — Режут ими редко. Крупный янтарь в Кер-Ис-Мор приходит раз в год, а то и реже. Режем для Совета, для украшений Кермарекам, иногда для гильдии, когда нужен большой кусок под печать для особого обета. Проволоку меняем каждую весну, она рыжеет от воды.

— А кто, кроме вас, умеет ими работать?

— Все, кто здесь больше трёх лет, — Матильда посмотрела на меня с любопытством. — Ты что, в мастерицы решила податься? Поздно, у тебя нить. Нить на мастерицу не меняют.

— Нет, просто... — я не знала, как спросить. — Их когда-нибудь берут из мастерской?

— Это ещё зачем?

— Не знаю. Порезать что-нибудь.

Матильда помолчала. Потом повернулась к стене и посмотрела на пилы словно увидела их впервые за много лет.

— Брали однажды, — она произнесла это медленно, словно доставала из памяти. — Года три назад, по осени. Один лучок пропал. Самый большой, крайний справа. Я неделю ругала послушниц, думала, какая-то утащила резать кость для гребней, они это любят. Потом он вернулся. Просто однажды утром висел на месте, — она пожала плечами. — Весь в иле. И песок в горшке под ним был другой, крупный, морской. Я тогда решила, что девчонки бегали на отмели и нашли себе какое-то дело. Наказала всю смену, на всякий случай.

Я смотрела в корыто. Вода в нём была мутной от песка, и в ней ничего нельзя было разглядеть.

— В какую осень, мастер?

— Не помню, — Матильда уже отходила к своему столу. — Года три. Тогда, кажется, ещё Гуэрн прорвало, у нас вся мастерская ходила с красными глазами, у каждой второй кто-то на нижних копанках работал. Мой племянник утонул, — она произнесла это ровно, без паузы, как говорят о погоде. — Мой свой сырец, свидетельница, а не думай. Думать будешь, когда выйдешь отсюда.

* * *

Вечером я пошла в архив.

На этот раз днём, после всех заверений, до вечерней воды, в час, когда свидетельницы ещё ходят по полкам и никто ни о чём не спрашивает. Сестра-архивщица, Арзель, сидела у входа за своими счётами и, как обычно, не подняла головы.

— Мне нужна судебная печать девятого года, — я положила перед ней раскрытую книгу выдачи. — Для сверки.

— Какой сверки?

— Сверки описи.

Это была не вполне правда и не совсем ложь. Арзель заглянула в книгу, где я уже вписала номер ящика и гнезда, своё имя и слово «сверка», и обмакнула перо.

— Вернуть до утренней воды, — она поставила свою пометку. — Судебные печати на ночь из архива не выносят.

— Я верну.

— Это та, Ардуэнова? — Арзель впервые на меня посмотрела. Глаза у неё были светлые, водянистые, и в них не было ничего, кроме скуки. — Её же скоро на очистку.

Я застыла с пером в руке.

— На очистку?

— Три года с возвращения, — Арзель уже снова смотрела в свои счёты. — Печати осуждённых через три года очищают. Устав, шестой свиток. Чтобы на полках место было. Срок у неё вышел в прошлом месяце. Сестра Бенуаза отдала список матушке на подпись.

Я об этом не знала. То есть знала, конечно, — шестой свиток мы проходили, как все, на втором году. Печати осуждённых

ных, тех, чей обет нарушен и залог взят, хранят три года на случай пересмотра, а потом очищают — опускают в кипящее масло, пока жилка не растворится, и отдают камень в мастерскую. Янтарь остаётся. Исчезает только обет. Я никогда не думала, что это может касаться меня.

— Когда очистка?

— На новолуние, как всегда, — Арзель стукнула костяшкой счётов. — Через восемь дней.

Я взяла печать из ящика сама, войлоком, не касаясь пальцами, как положено, и унесла к себе в келью, завернув в платок.

Солнце садилось. В моём окне, выходящем на залив, свет становился медным, а потом красным, и я поставила на подоконник маленький деревянный пюпитр, который мы используем для проверки печатей, положила на него бусину и села напротив.

Печать Иво Ардуэна была обычной. Медового цвета, размером с горошину, круглая, хорошо отполированная — её выбирала для него сама мать-настоятельница, как выбрала для обручения две бусины. Я поднесла к ней свечу. Потом убрала свечу и посмотрела против заходящего солнца, как смотрят на всё важное.

Жилка внутри была. Тонкая, как волос в мёде, она началась у одного края бусины, у того, где её касалась ладонь Кермарека, и уходила вглубь. Светилась ровно, тускло, как светятся нити живых: Гильдас был жив. А на середине она

обрывалась.

Дальше, к другому краю, к тому, где бусину держал Иво, тянулся второй отрезок — тёмный, почти чёрный, мёртвый. Так выглядят нити тех, кого больше нет. Между двумя отрезками зияла пустота шириной с ноготь младенца.

Это я видела три года назад. На суде, при матери-настоятельнице, при Совете, при всех. Концы тусклые. Разрыв полный.

Я смотрела на разрыв, пока у меня не заслезилась глаза.

Когда нить рвётся от нарушения, её края похожи на концы порванной верёвки. Лохматые, растрёпанные, с торчащими волоконцами. Нас учат этому на третьем году, на старых печатях из дальнего зала. Я видела сотни таких разрывов. Мне казалось, что я узнаю их с закрытыми глазами.

У жилки Гильдаса конец был лохматым. Как положено.

А у тёмного отрезка Иво...

Солнце коснулось воды. Свет стал гуще, краснее, и печать в нём загорелась, как уголёк. Мне почудилось — или я себя обманывала, — что у самого конца тёмного отрезка есть что-то ещё. Что-то тоньше волоса, бледнее тени. Как след от пальца на запотевшем стекле, когда сам палец уже убрали.

Я наклонилась ближе. И солнце ушло.

Свет погас разом, как всегда гаснет на заливе осенью: только что было красно, и вот уже серо. Печать на пюпитре стала просто бусиной. Я схватила свечу, поднесла — но при свечах нить видна хуже, это знают даже ученицы. Огонь даёт

свой цвет, жёлтый, и всё желтое тонет в нём. Жилку я различала. А то, что почудилось мне на закате, — нет.

Я просидела над печатью до полуночи. Потом легла, положила её под подушку, завёрнутую в платок, и решила, что утром, на рассвете, когда свет будет ровный и белый, посмотрю ещё раз.

* * *

Утром меня вызвала мать-настоятельница.

Она сидела в рабочей комнате, впервые за неделю не в постели, у очага, укутанная в плед до подбородка. Лицо у неё стало ещё прозрачнее, а пальцы, которыми она держала чашку, не сгибались до конца, будто восковые. Рядом стояла сестра Бенуаза со списком в руках.

— Книга выдачи, — Ортанс не поздоровалась. — Вчера вечером ты взяла из архива судебную печать девятого года. Для сверки.

— Да, матушка.

— Какой сверки?

Я знала, что она спросит. Я думала над ответом, пока поднималась по лестнице, и не придумала ничего лучше правды. Не всей. Части.

— Я хотела посмотреть на неё ещё раз, — я стояла прямо. — Перед тем как её очистят.

Бенуаза за креслом пошевелилась. Ортанс поставила чашку на подлокотник, очень медленно, будто боялась пролить.

— Зачем тебе это?

— Я заверяю обручение его сына. Я хотела убедиться, что не ошиблась тогда.

— Ты сомневаешься?

— Нет, матушка, — это была ложь, и она прошла сквозь меня так легко, что я испугалась. — Я хотела убедиться.

Ортанс смотрела на меня долго. Огонь в очаге потрескивал. Где-то во дворе послушницы тащили вёдра, и было слышно, как одна из них уронила своё и выругалась.

— Тебе было четырнадцать, — Ортанс заговорила тихо. — Я стояла рядом, когда ты смотрела. Я видела то же, что и ты. Совет слышал нас обеих. Иво Ардуэн сам не спорил, что нить порвана, — он отрицал только свою вину. Все, кто нарушает обеты, говорят одно и то же, — она протянула руку. — Отдай.

Я достала платок из кармана. Развернула. Бусина лежала на белом полотне, медовая, тёплая от моего тела.

— Матушка, очистка только через восемь дней...

— Печать отправится в мастерскую сегодня, — Ортанс не опустила руку. — Сестра Бенуаза отнесёт. Её место в архиве нужно для нового ящика, а сверять нечего. Ты видела на суде всё, что можно было увидеть.

— Но если...

— Если что, Анаик?

Я замолчала. Если там что-то есть. Если на закате мне не показалось. Если Иво Ардуэн не лгал. Я не могла сказать ничего из этого. Не ей, не при Бенуазе, не сейчас.

Я положила печать ей на ладонь.

Ортанс сомкнула пальцы, медленно, с усилием, будто каждый сустав приходилось уговаривать. Подержала. Потом передала бусину Бенуазе, не глядя.

— В мастерскую. К Матильде, в ящик на очистку. И отметить в книге, что выдача закрыта.

— Да, матушка.

Бенуаза ушла. Мы остались вдвоём.

— Ты устала, — мать-настоятельница снова взяла чашку. — Ты не спишь, я вижу. Ты ходишь на левый берег по вечерам — мне сказали и об этом. Ты взваливаешь на себя больше, чем можешь унести, как всегда, — она отпила и поморщилась, как будто питьё было горьким. — Иво Ардуэн мёртв. Его не вернуть. Ни правдой, ни ложью, ни пересмотром. Если ты хочешь кого-то спасти, спасай живых. Это у тебя ещё может получиться.

— Кого, матушка?

— Себя, для начала, — Ортанс закрыла глаза. — Иди к корытам.

* * *

Мадлон дежурила в мастерской после полудня. Я дождалась, пока Матильда уйдёт к жаровням смотреть на новые свёрла, и пересела от своего корыта к её полировочному столу, будто за войлоком.

— Мне нужна твоя помощь.

— Я так и знала, — Мадлон не подняла головы от бусины.

— Ты всю неделю смотришь словно у тебя под кроватью кто-то живёт. Кто?

— Никто. Послушай.

И я рассказала. Не всё. Не про немоту, не про верфи, не про холодную бусину в сундуке. Только про печать Иво. Про закат, про след у конца тёмного отрезка, который то ли был, то ли нет. Про очистку через восемь дней и про то, что печать уже лежит здесь, в мастерской, в ящике у Матильды.

Мадлон слушала, не переставая тереть бусину. Её руки двигались ровно, кругами, как всегда, но к концу моего рассказа войлок в её пальцах остановился.

— Ты хочешь сказать, — она говорила очень тихо. — Что ты, свидетельница первой ступени, полгода в перчатках, сомневаешься в своём собственном показании на суде, которое подтвердила мать-настоятельница. Из-за того, что тебе что-то показалось на закате.

— Да, именно так.

— И что ты хочешь, чтобы я достала из ящика на очистку печать осуждённого, которую туда положила сестра Бенуаза по приказу матушки.

— Да. Прошу тебя.

— Ты сошла с ума.

— Наверное, сошла.

Мадлон положила войлок на стол. Посмотрела на меня. Потом на ящик у стола Матильды — простой деревянный ящик с крышкой, на которой мелом было написано «ново-

луние».

— Очистка через восемь дней, — она заговорила тем же тоном, каким говорила о бусинах. — Варить будет Матильда, а ей нужны две помощницы — держать котёл и вылавливать. Я в этом месяце в мастерской. Если попрошусь, меня поставят. Котёл кипит, в нём пятьдесят бусин, никто не считает, какая где. Выловить одну и положить на её место другую, мёртвую, из дальнего зала, — это я могу.

— Мадлон...

— Я ещё не согласилась, — она снова взяла войлок. — Я просто говорю, что могу.

— Если тебя поймают...

— Если меня поймают, я скажу, что уронила бусину на пол и подменила, чтобы не попало. Матильда меня отругает и посадит к корытам до весны, — Мадлон дёрнула плечом. — Я уже сижу у корыт до весны в половине своих снов. Привыкла.

Я смотрела на неё и не знала, что сказать. Мадлон Ферре, которая не любила ни тайн, ни ночных вылазок, ни неприятностей, которая сбегала с урока устава, чтобы поспать в кладовке, предлагала мне украсть у матери-настоятельницы судебную печать.

— Почему ты соглашаешься? — у меня перехватило горло.

— Потому что ты у меня одна, — Мадлон не стала смотреть мне в глаза. — И потому что ты три года не можешь

спокойно спать в ночь, когда штормит. Я сплю за стенкой, я слышу. Ты не знала? — она снова принялась тереть бусину. — Если там ничего нет, ты успокоишься. А если есть... Тогда ты мне расскажешь всё остальное, о чём сейчас молчишь. — О чём я молчу?

— Не знаю. Но у тебя на запястье, под рукавом, мужской мерный шнур, а от сапог, которые ты вчера оставила у двери, пахнет ардуэнской смолой, — Мадлон наконец подняла голову. — Я не дура, Анаик. Я просто вежливая.

* * *

У ворот Янтарного двора меня ждали в сумерках.

Девушка стояла, прислонившись к столбу, и грызла яблоко. Загорелая до черноты, в мужской куртке и подоткнутой юбке, с волосами, кое-как собранными в хвост. На земле у её ног лежал свёрток.

— Свидетельница, — Гвенола Ардуэн бросила огрызок через плечо, в кусты. — Брат говорит, вы ему кое-что должны.

— Я должна?

— Башмаки, — она пнула свёрток носком. — А вот ваш сапог. То есть мой. Брат нырял за ним утром, в прилив. Два раза. Сказал, что если я узнаю, что сапог пропал, то утоплю его быстрее Кермарека.

Я подняла свёрток. Внутри действительно лежал сапог, мокрый, вычищенный от ила, с запиской, засунутой за голенище.

— Ваши башмаки у меня в келье, — я не знала, что ещё сказать. — Сейчас принесу.

— Не надо. Оставьте себе. Он всё равно в них никуда не ходит, только в сарае, — Гвенола оглядела меня сверху вниз, долгим, оценивающим взглядом, совсем как Леонор, только без её холодности. Скорее с любопытством, как разглядывают незнакомую лодку. — Вы маленькая.

— Простите, что?

— Я думала, вы больше. Брат так говорит о вас, будто вы с маяк ростом, — она отлепилась от столба. — Ладно. Записку прочтите, когда меня не будет. И не ходите больше на Гуэрн в прилив, а то у нас сапог на всех не хватит.

Она ушла вниз по Отмельной лестнице, широким мальчишеским шагом, и ни разу не обернулась.

Записка была короткая, нацарапанная углём на клочке парусины: «Вдова Кервен откроет послезавтра. Рыбный рынок, лавка с синей дверью, за полдень. Приходи как свидетельница». И ниже, мельче, другим нажимом, будто дописано позже: «Гвеноле можно верить. Мне — как решишь».

Я сложила записку и сунула в перчатку, к имени вдовы, которое лежало там со вчерашнего дня. Потом поднялась к себе и до полуночи сидела у окна, глядя на залив, где на воде под маяком в темноте не было видно Камня Возврата.

Восемь дней до очистки. Тридцать четыре — до Прилива.

Глава восьмая. Шторм

Утром небо над морем было жёлтым, как старая печать, и к полудню жёлтое сменилось свинцовым. Мастер Матильда посмотрела вверх, на стеклянную крышу, и велела послушницам принести ставни.

— К ночи будет буря, — она объявила это тем тоном, каким сообщают, что завтра отлив. — Свидетельница Сальве, вы свободны до завтра. Ваше корыто никуда не денется.

Я могла остаться. Мне следовало так и сделать. Но в кармане у меня лежала вторая записка, которую на рассвете принёс мальчишка-посыльный с паромной пристани, и в ней было всего несколько слов углём: «Отцовские бумаги. Сегодня, пока светло. Г. встретит у парома».

Я решила, что успею до бури. Паром ходит, пока ветер не сильнее четырёх баллов, а сейчас он едва дотягивал до трёх. Я переоделась в старое платье, надела плащ без знака и ушла через нижние ворота, не попавшись на глаза ни Бенуазе, ни Мадлон.

Гвенола ждала у пристани на левом берегу, сидя на перевёрнутой корзине и кидая камешки в воду.

— Вы всё-таки пришли, — она встала. — Брат спорил со мной на зерно, что не придёте из-за погоды.

— А вы на что спорили?

— Что придёте. Я выиграла, — Гвенола пошла вдоль бе-

рега, не оглядываясь, иду ли я. — Дом недалеко. Только не пугайтесь, когда увидите. Брат говорит, что вы бывали у Кермарек. После их дома у нас как в сарае.

* * *

Особняк Ардуэнов стоит у самой воды, на каменном фундаменте, который во время больших приливов заливают до первого этажа. Когда-то это был красивый дом: три этажа, высокие окна, крыша из сланцевой плитки, флюгер в виде корабля. Теперь половина окон была заколочена досками, черепица на одном скате съехала, а железный кораблик застыл, глядя на север, и не поворачивался.

Внутри было чисто и холодно. Большие залы стояли пустыми, с белыми пятнами на стенах там, где когда-то висели картины или карты. Мебель, какая осталась, была собрана в три-четыре комнаты нижнего этажа, и в одной из них, на кухне, горел очаг.

— Продали, — Гвенола заметила, куда я смотрю. — После суда. Отец погиб, а штраф Совета остался. Сорок душ — это дорого. Брат сбыл с рук всё, что можно было продать, кроме верфей. Верфи без него Кермарек забрал бы за полгода.

На кухне сидел одорукий старик, которого я видела у Маяка, и чистил рыбу. Он поднял голову, посмотрел на меня из-под седых бровей и ничего не сказал.

— Это Ронан, — Гвенола бросила куртку на лавку. — Он был боцманом у деда. Руку потерял, когда ставили дамбу на мысе, лет тридцать назад. Он с нами живёт. Он не разгова-

ривает с чужими, это не со зла.

— Разговариваю, — старик снова опустил глаза к рыбе.
— Когда есть о чём.

Корантен вышел из соседней комнаты, вытирая руки тряпкой. На рукавах у него были пятна чернил.

— Ты успела, — он посмотрел в окно, где небо над заливом уже становилось почти чёрным. — Но обратно, боюсь, не успеешь.

— Паром же...

— Паром перестанет ходить через склянку, — он кивнул Гвеноле. — Сбегай к паромщику, скажи, чтобы не ждал. Свидетельница переночует у нас.

— Я не могу ночевать у вас!

Все трое посмотрели на меня. Ронан — с лёгким любопытством, Гвенола — с весельем, Корантен — с таким терпением, будто я была маленькой и спрашивала, почему вода мокрая.

— Можешь вернуться пешком через Гуэрн, — предложил он. — Это четыре лиги вокруг залива, по дамбам. В бурю. Ночью. Я тебя провожу, если хочешь.

Я села на лавку у очага. Гвенола засмеялась и ушла за дверь, в ветер.

* * *

Бумаги Иво Ардуэна лежали в комнате, которую Корантен назвал конторой, хотя от прежней обстановки там остались только стол, стул и сундук. Всё остальное он продал вместе

с картинами.

— Это сохранил, — он открыл сундук. — Кермарек требовал отцовские записи на суде, но я сказал, что они утонули вместе с ним. Мне поверили. Мне всегда верят, когда я говорю что-нибудь плохое.

В сундуке лежали свёртки — десятки, перевязанные бечёвкой, исписанные мелким наклонным почерком. Чертежи дамб, расчёты, списки свай с размерами и датами. Карты. Корантен вынул самую большую и развернул на столе, прижав углы чернильницей и двумя камнями.

Это был Кер-Ис-Мор. Но не тот, который я знала. Улицы, дома, лестницы были намечены на нём тонкими бледными линиями, едва заметно. А поверх них, жирно, чёрной тушью, шли другие линии — извилистые, ветвящиеся, переплетающиеся, как корни дерева.

— Водостоки, — Корантен провёл по ним пальцем. — Старые. Город стоит на них, как на сваях. Большую часть заложили в первое столетие после Разрыва, когда строили дамбы. Отец спускался туда последний год почти каждую ночь. Вот здесь он был. И здесь. И здесь.

Его палец останавливался на крестиках, которые были разбросаны по карте. Возле каждого стояла дата и короткая пометка.

Я наклонилась ближе. «Свод осел, вода по колено». «Кладка не наша, старше». «Сухо. Странно». А у самого края, там, где город упирается в Гуэрнский мыс, у начала

дамбы, стояла пометка, обведённая дважды: «Аэлиз клала в основание не камень».

— Что это значит?

— Не знаю, — Корантен смотрел на надпись, и лицо его было спокойным, но пальцы, лежавшие на краю карты, сжались. — Он написал это за десять дней до прорыва. Последняя пометка. Больше он туда не ходил. Или ходил, но не записывал.

— А что тогда она клала?

— Хотел бы я знать, — он отпустил карту, и её край тут же свернулся. — Я спускался туда сам, по его следам. Дважды. Там, где он поставил этот крестик, — завал. Свод рухнул, наверное, в ту же ночь, когда прорвало дамбу. Без помощников не разобрать, а их у меня нет.

Я смотрела на надпись. Буквы были твёрдыми, ровными, без дрожи, — так выводит буквы человек, уверенный в каждом слове.

— Твой отец верил в легенду о Мор-Исе?

— Мой отец верил в сваи, — Корантен пожал плечами. — В глину, в камень, в приливы. Если он написал что-то про Аэлиз, значит, нашёл что-то, что можно потрогать.

За окном ударил первый порыв ветра, сильный, тяжёлый. Ставни затрещали. Где-то наверху хлопнула незакреплённая дверь, а потом в стекло, которое осталось целым только в этой комнате, хлестнул дождь, сразу, стеной, будто кто-то выплеснул ведро.

— Началось, — Корантен свернул карту. — Пойдём на кухню. Тут к утру будет как в погребе.

* * *

Ужинали рыбой, которую чистил Ронан, и гречневыми лепёшками.

— Хозяин сорок лет клялся, — Ронан заговорил так неожиданно, что я вздрогнула. Он смотрел не на меня, а в свою миску. — Наймы, поставки, починки. Каждый год по десятку обетов. Я при нём был с мальчишек. Ни одного пятнышка на ногтях. Ни одного за сорок лет. А тут, на последнем, вдруг — разрыв.

— Ронан, — Корантен не поднял головы.

— Я только говорю, — старик подцепил кусок рыбы. — Свидетельница спрашивала, кто тут с ней будет разговаривать. Я говорю. Гвенола вернулась промокшая насквозь, с известием, что старик уже привязал свою посудину и ушёл домой, и что на причале снесло две лодки. Она переоделась и села напротив меня, грея руки о кружку с горячим сидром.

Ронан ел молча. Корантен — тоже. Буря выла над крышей, в трубе гудело, и от этого гула огонь в очаге то пригибался, то вспыхивал выше. Мне было странно сидеть здесь, за этим столом, с этими людьми, которые должны были меня ненавидеть. Ронан ни разу не посмотрел на меня прямо. Гвенола, наоборот, смотрела всё время.

После ужина Корантен ушёл наверх — сказал, что надо проверить крышу, пока её не снесло совсем. Ронан ушёл

следом, держа в единственной руке фонарь. Мы с Гвенолой остались у очага вдвоём.

Она долго молчала, вертя в пальцах пустую кружку. Потом поставила её на стол и сказала, не поднимая глаз:

— Можно я вам кое-что расскажу? Как свидетельнице.

— Если хотите.

— Я не хочу. Но надо, — Гвенола подняла голову. В свете очага её лицо стало вдруг совсем детским, и я вспомнила, что ей всего шестнадцать. — Прошлой зимой я дала обет. Не у вас, не в гильдии. У одной женщины на островах, она раньше была свидетельницей, потом ушла. Как старая Эльвина. Она заверяет для контрабандистов.

Я молчала.

— Я обещала одному человеку... — Гвенола сглотнула. — Неважно кому. Обещала молчать о том, что видела. Залогом — три пальца. А потом рассказала брату. И с тех пор у меня вот.

Она протянула мне левую руку, ладонью вниз. На ногтях безымянного пальца, мизинца и среднего проступали жёлтые пятна — неровные, как капли смолы на коре.

Я смотрела на её ногти и чувствовала, как у меня холодеет спина.

Устав говорит об этом ясно, четвёртый свиток, вторая строка. Свидетельница, которая узнала о нарушенном обете, обязана сообщить о нём матери-настоятельнице, даже если обет заверен не нами. Особенно если не нами. Заверения на

стороне запрещены, и люди, которые их дают, и люди, которые у них клянутся, подлежат суду Совета.

— Вы скажете своей матушке? — Гвенола не убирала руки.

— Почему вы мне это рассказываете?

— Потому что вы видите, — она смотрела мне в глаза. — Я хочу знать, что со мной будет. Застыну я или нет. Сколько у меня времени. Вы же можете посмотреть, правда? Свидетельницы могут.

Я взяла её руку. Пальцы были холодные и шершавые от верёвок. Я поднесла их к огню, к самому свету, и посмотрела — по-настоящему, тем зрением, которому меня учили девять лет.

Ничего.

Ни нити, ни следа нити, ни оборванного конца. Её запястье было пустым, как у любого человека, у которого нет обетов. А жёлтые пятна на ногтях, если смотреть в упор, лежали сверху, на ногте, а не внутри него. Чуть смазанные по краям. Как краска.

Я подняла глаза. Гвенола смотрела на меня, не мигая.

Я могла сказать, что вижу. Что это охра или сок крушины, которым красят паруса на островах. Что она лжёт, и я это знаю. И тогда она бы поняла, что я — свидетельница до кончиков пальцев, что я проверяю всё и всех и выведу на чистую воду любого, кто попробует меня обмануть.

Или я могла промолчать.

— Нити я не вижу, — я говорила медленно, не отпуская её руки. — Значит, обет уже погас. Или его не было.

— Как это — не было?

— Не знаю. Может быть, та женщина на островах ничего не умела. Может быть, бусина была не заговорена. Так бывает, — я положила её руку на стол, ладонью вниз, и накрыла своей. — Пятна сойдут через неделю, если не будете их трогать. И больше не рассказывайте, что клялись на островах. Ни одной живой душе, Гвенола. Даже мне.

— А вы? — её голос был очень тихим. — Вы расскажете?

— Нет, не расскажу.

— Это против вашего устава.

— Против, я знаю.

Гвенола долго смотрела на меня. Потом медленно вытащила руку из-под моей и спрятала её под стол.

— Тогда почему?

— Потому что вам шестнадцать лет, и вы рассказали брату правду, — я встала. — По-моему, за это не отрезают пальцы. Где мне можно лечь?

Перед тем как лечь, я вышла в коридор умыться, и на лестнице столкнулась с Корантемом. Он спускался с чердака, мокрый, с молотком за поясом, и в руках у него была свёрнутая шерстяная шаль, тёмно-синяя, с вытертой бахромой.

— Возьми, — он протянул её мне. — У Гвенолы в комнате дует от окна.

— Чья это?

— Матери, — он помедлил, будто решал, сказать ли больше. — Она умерла, когда родилась Гвенола. Отец не дал про-
дать. Я тоже не дам.

Я взяла шаль. Она пахла лавандой — так слабо, что, может
быть, мне показалось.

— Она была свидетельницей? — я сама не знаю, почему
спросила.

— Нет. Дочерью конопатчика с этого берега. Отец женил-
ся на ней против воли деда, — Корантен посмотрел на шаль
у меня в руках. — Говорят, она клялась только раз в жизни,
на свадьбе. И больше никогда не брала в руки янтарь. Гово-
рила, что для одного обещания одного раза хватает.

Он ушёл вниз, не дожидаясь ответа. А я стояла на лестни-
це с шалью его матери и думала, что впервые за девять лет
слышу, как кто-то говорит о клятве без страха.

* * *

Мне постелили в комнате Гвенолы, на сундуке у окна. Са-
ма она устроилась на кровати и долго ворочалась, слушая
бурю. Я лежала с открытыми глазами и смотрела на ставни,
сквозь щели которых пробивались вспышки молний.

— Свидетельница, — Гвенола заговорила в темноте, когда
я уже думала, что она спит. — Это была краска.

— Я знаю.

Тишина. Ветер ударил в стену так, что задрожали стёкла.

— Тогда почему вы не сказали?

— А зачем вы это сделали?

Она снова замолчала. Потом зашуршала одеялом, переворачиваясь ко мне.

— Хотела узнать, побежите ли вы к своей матушке. С таким, что можно проверить. Если бы помчались туда — значит, рано или поздно побежите и с братом, — Гвенола помолчала. — Он не знает. Я сама придумала. Он бы меня убил.

— А если бы я побежала?

— Тогда я бы сегодня ночью разбудила его и сказала, что пора уходить за створ. Лодка готова. Мы бы ушли в бурю, нас бы никто не догнал, — она говорила просто, как о деле давно решённом. — Я бы его увезла, даже если бы он не хотел. Он упрямый, но я сильнее, чем кажусь.

Я смотрела в потолок. Где-то над ним, на чердаке, ходил Корантен — я слышала его шаги, тяжёлые, осторожные, и стук молотка, когда он прибивал что-то, что ветер пытался оторвать.

— Ты всегда так проверяешь людей? — спросила я.

— Только тех, кому брат доверяет, — Гвенола зевнула. — Таких немного. Вы вторая за три года. Первым был отец, но это не считается.

— А кто ещё?

— Никто. Я же сказала: вы вторая, — она снова завопилась, натягивая одеяло на голову. — Спокойной ночи, свидетельница. Краску я смою утром. Это сок крушины, он едкий, но отходит.

* * *

Корантен

Крыша выдержала. Он сам удивился: половина скатной черепицы держалась на честном слове, а гвоздей в доме не осталось с тех пор, как он продал кузнецу последний ящик. Но они с Ронаном привязали стропила к балкам верёвками, натянули сверху старый парус и прижали его камнями, и холстина выстояла.

Ронан ушёл спать, а Корантен остался на чердаке. Он сидел на перевёрнутом ведре у слухового окна и смотрел на залив, где молнии били в воду так часто, что вода казалась белой.

В щели между досками пола внизу пробивался свет. Комната Гвенолы. Там свеча, и там она.

Он не слышал, о чём они говорили у очага. Ронан всё слышал: старик сидел на лестнице, когда Корантен поднимался с инструментами, и глядел на него так же, как в тот день, когда десятилетний мальчишка разбил отцовскую подзорную трубу. Но ничего не сказал. Старик никогда не говорил, если его не спрашивали.

Корантен не спросил. Он знал свою сестру.

Свидетельница сидела за их столом, ела их рыбу и ни разу не поморщилась. Её взгляд прошёл по пустым стенам, по заколоченным окнам, по культе Ронана — и она не отводила глаз, не жалела вслух, не делала вид, что не видит. Она смотрела так же, как тогда, на сваю, — внимательно, честно,

будто запоминала. Как будто бедность — это тоже то, что надо заверить.

Три года он думал о ней каждый день. Он признался ей в этом на стапеле и не солгал: он перебрал сотню слов, которые бросит ей в лицо, если встретит. Девчонка на табурете, которая трижды произнесла «разрыв полный», а потом стояла у Камня, вся белая, в рубаше ученицы, и смотрела, как вода поднимается к коленям его отца. Он ненавидел её так долго и так старательно, что это чувство стало чем-то вроде мерного шнура на запястье: привычное, всегда при себе.

А потом она сказала на круге Аэлиз «нить мутна». И теперь он не знал, куда девать сотню слов.

Свет внизу погас. Буря выла по-прежнему, но где-то далеко, на западе, в тучах уже показался просвет.

Корантен отвернулся от окна и долго сидел в темноте, глядя на свои руки. Ни один янтарь в мире не мог их связать. Он всегда считал это проклятием. Сегодня впервые подумал, что, может быть, это ещё и выбор: раз его ничто не связывает, всё, что он держит, он держит потому, что хочет.

Это была опасная мысль. Он не стал её додумывать.

Глава девятая. Долг Эрвана

Буря кончилась перед рассветом так же внезапно, как началась. Я проснулась от тишины. Ветер больше не выл в трубе, ставни не трещали, и только с крыши ещё капало — редко, звонко, в какое-то ведро. Гвенола спала, накрыв голову одеялом. Я тихо оделась, свернула шаль её матери и положила на край кровати, а потом спустилась на кухню.

Корантен был там. Он сидел у остывшего очага и чинил весло, обматывая треснувшую лопасть просмоленной бечёвкой. На столе стояла кружка с чем-то горячим, от неё поднимался пар.

— Пей, — он не поднял головы. — Это не сидр. Отвар из шиповника. Ронан варит, когда кто-нибудь мокнет.

Я села и взяла кружку обеими руками. Отвар был кислым и обжигающим, и от него сразу стало тепло до самых пальцев.

— Паром пойдёт через склянку, — Корантен затянул узел. — Но я доведу быстрее. Если ты не против моей лодки.

— А если увидят?

— В такую рань? После бури? — он наконец посмотрел на меня. — На пристанях все будут считать, у кого что унесло. На нас никто не взглянет.

Он оказался прав. Залив после бури был серым и тихим, как вымытая тарелка, и по нему плавали обломки — доски,

бочки, ключья сетей, чья-то перевернутая лодка с пробитым днищем. На берегах сустились люди, вытаскивали на песок что могли, кричали друг другу через воду. Лодка Корантена, маленькая, с одним парусом, скользила между обломками, и никто не повернул головы.

Я сидела на носу. Он правил с кормы, и мы не разговаривали. Только когда до правого берега оставалось шагов двести, он спросил, не глядя на меня:

— О чём вы говорили с Гвенолой?

Я вспомнила крашенные ногти, свет очага, её детское лицо.

— О женском, — ответила я.

Он долго молчал. Потом хмыкнул, и это было почти похоже на смех.

— Она тебя проверяла.

— Не знаю, о чём ты.

— Она проверяет всех, кто мне нравится, — он произнёс это так спокойно, будто сообщал глубину под килем. — Обычно они после этого больше не приходят.

Я не нашлась, что на это ответить. А он, кажется, и не ждал ответа. Он развернул лодку к пустой пристани под Отмельной лестницей, где обычно никто не швартуется, и ткнулся носом в сваю так мягко, что я даже не покачулась.

— Вдова сегодня, после полудня, — напомнил он, придерживая лодку у причала, пока я выбиралась. — Я буду у Рыбного рынка, но не подойду. Ты иди одна.

— Хорошо, я поняла.

— И, Анаик, — он оттолкнулся веслом. — Мне правда понравилось, что ты ей ничего не сказала. Что бы она там ни говорила.

Я поднялась по лестнице, не оборачиваясь. Мне было почему-то жарко, хотя утро было холодным, а отвар давно остыл.

* * *

Мадлон перехватила меня на галерее восточного крыла, у самой двери. Она была бледная и держала в руке лист бумаги, сложенный вчетверо.

— Где ты была? — она не стала ждать ответа. — Неважно. Потом. Это пришло вчера вечером, от копанок. Мальчишка принёс, я сказала, что ты спишь, и взяла сама.

Я развернула лист. Почерк был корявым, крупным, буквы прыгали в разные стороны, и некоторые были написаны задом наперёд. Брат так и не научился писать как следует.

«Ана. У меня беда. Я подрался с Жосленом, сыном старшины, он сказал про тебя плохое, а я ему дал, и у него рука сломалась. Старшина сказал, что за руку надо платить. Или в тюрьму Совета, или обет. Я дал обет. Десять кругов до Прилива. Залог правая рука. Заверяла сестра из вашего двора, старая, с белыми бровями. Ана, я не знаю, где взять десять кругов. Я бы не писал, но мне страшно. Не говори никому. Эрван».

Я перечитала письмо дважды. Потом ещё раз. Буквы плыли перед глазами.

— Сестра с белыми бровями, — у меня получилось очень тихо. — Бенуаза.

— Бенуаза ездила вчера на правый берег, — Мадлон взяла меня за руку. — Я видела, как она садилась в коляску. Кермарекскую, синюю. Я ещё подумала, что странно.

Десять кругов серебром до дня Прилива, или мой брат, которому тринадцать лет, лишится правой руки. И ещё девять старого долга, которые никуда не делись, — если я хочу, чтобы он вообще ушёл с копанок.

Я знала, что это значит. Я сама рассказывала Пейру Гоазиу на Нижнем причале, как это будет. Сначала пожелтеют ногти. Потом пальцы станут твёрдыми и прозрачными. Потом кисть превратится в янтарь — красивый, медовый, с застывшими внутри жилками, как в коллекции Гильдаса Кермарека за стеклом.

— Анаик, — Мадлон сжала мою руку сильнее. — Анаик, ты меня слышишь?

— Слышу, Мадлон.

— У меня есть два круга. Я копила на новые башмаки. Возьми.

Я посмотрела на неё — на круглое лицо, на обветренные губы, на глаза, в которых стояли слёзы, хотя плакать вообще-то должна была я.

— Это не поможет, — я покачала головой. — Нужно десять. А лучше девятнадцать.

— Тогда два из десяти. Это лучше, чем ничего, — Мад-

лон сунула руку в карман. — И я спрошу у девочек. У кого-нибудь что-нибудь да есть.

— Не надо, — я поймала её руку. — Пожалуйста. Если по двору пойдут разговоры, что я собираю деньги для брата, через полсклянки об этом узнает Бенуаза, а к вечеру — Кермарек. Он этого и ждёт.

Мадлон застыла.

— Ты думаешь, это он?

— Я думаю, что у старшины на копанках Кермарека не было бы денег, чтобы нанять свидетельницу из Янтарного двора. Даже за сломанную руку сына, — я сложила письмо. — А у Кермарека есть.

* * *

Сестру Бенуазу я нашла в счётной комнате, где Старшие сверяют выручку за заверения. Она сидела над раскрытой книгой и водила пальцем по столбцам, и, когда я вошла без стука, даже не подняла головы.

— Вчера вы заверяли долговой обет на копанках Кермарека, — я остановилась у стола. — Эрван Сальве. Десять кругов, залог — правая рука.

— Заверяла, — Бенуаза перевернула страницу. — Это записано. Три круга в казну, выезд оплачен.

— Кем?

— Хранителем Дамб. Он платит за выезд свидетельниц на свои копанки, как всегда, — она наконец посмотрела на меня. Глаза у неё были серые, как вода в корыте, и такие же

холодные. — Что-то не так с нитью, свидетельница Сальве?
— Ему тринадцать лет.

— Обеты принимают с двенадцати. Устав, первый свиток,
— Бенуаза снова опустила взгляд в книгу. — Мальчик сломал руку сыну старшины. Старшина имел право требовать возмещения. Мальчик имел право отказаться и пойти под суд Совета. Он выбрал обет. Я спросила его трижды, понимает ли он залог. Он ответил, что понимает. Нить легла чисто.

— Вы знали, чей он брат.

— Знала, — Бенуаза не стала отпираться. — Поэтому и спрашивала трижды, а не один раз, как положено.

Я стояла перед её столом и не знала, что сказать. Она была права по каждой строке устава. Её нельзя было упрекнуть ни в чём, кроме того, что она приехала через склянку на синей коляске, будто ждала.

— Вам велели?

Бенуаза закрыла книгу. Медленно, придерживая страницы пальцем, чтобы не помялись.

— Мне велит только мать-настоятельница, Сальве, — она произнесла это ровно. — А матушка сейчас лежит у себя и не встаёт, потому что последние десять дней ей приходится отвечать на письма Хранителя Дамб вместо того, чтобы лечиться. Из-за одного слова, которое ты сказала на круге Аэлиз, — она встала. — Тебе бы помолчать немного. Ты и так сделала достаточно.

Она вышла, оставив меня одну в счётной комнате, у закрытой книги, в которой где-то на последней странице стояли три круга за руку моего брата.

* * *

Мне нужно было увидеть Эрвана. Я не могла пойти в его барак на копанках — свидетельницам туда нельзя без позволения старшины, а он, конечно, меня не позовёт. Но я знала другое место.

На краю отмелей, у промывочных лотков, стоит старая сушильня — длинный сарай без стен, где сушат сети и решёта. По утрам, после смены, копальщики-мальчишки бегают туда греться у печки, которую топят для сетей. Отец водил меня туда, когда я была маленькой. Сушильня стояла на том же месте.

Эрван был там. Он сидел на корточках у печки, один, сунув руки почти в самый огонь, и не обернулся, пока я не подошла совсем близко.

— Ана, — он вскочил. Лицо у него было опухшее, как бывает после слёз, которые очень старались не пролить. — Я же написал, чтобы ты никому...

— Я никому, — я присела рядом с ним на корточки. — Покажи руку.

Он протянул мне правую. Я взяла её — худую, в цыпках, с обломанными ногтями, — и посмотрела по-настоящему.

Нить была. Золотая, свежая, толщиной с волос, она шла от его запястья куда-то в сторону, к баракам, к дому старшины.

А рядом с ней, чуть тусклее, тянулась вторая, старая, трёх-
летняя, — к дому на круче, к Кермарекам. Обе были ровны-
ми, плотными. Ни мутности, ни трещин. Бенуаза знала своё
дело.

— Что он сказал про меня? — я не отпускала его руку. —
Жослен. Что он сказал?

Эрван отвёл глаза.

— Да неважно это.

— Эрван, скажи мне.

— Он сказал, что ты продалась Ардуэнам, — брат гово-
рил в огонь, не глядя на меня. — Что тебя видели на левом
берегу, на пароме, и что все теперь знают, почему ты не ста-
ла заверять его нить. Что ты с ним... — он запнулся. — Я
его ударил. Я не хотел ломать. Я просто ударил, а он упал на
край лотка.

Я молчала. В печке трещал торф. Где-то снаружи старши-
на свистнул смене, и по доскам застучали шаги.

— Кто заверял обет?

— Сестра. Старая. Она приехала сразу, через склянку,
будто ждала, — Эрван наконец посмотрел на меня. — Ана,
я не знал, что делать. Старшина сказал, что если не обет, то
тюрьма Совета, а оттуда на галеры. А ещё он обещал, что
если я соглашусь, то Хранитель Дамб, может быть, простит
долг. Если ты будешь умницей.

— Если я буду умницей, — я повторила медленно, не веря
своим ушам.

— Он так сказал, — брат сглотнул. — Ана, а что это значит?

Я встала. Колени у меня затекли, и я покачнулась, но удержалась за столб.

— Это значит, что у тебя всё будет хорошо, — я заставила себя улыбнуться. — Я найду деньги. До Прилива ещё тридцать два дня.

— Десять кругов, Ана.

— Я знаю, сколько.

— Где ты их возьмёшь?

Я не знала. У свидетельниц нет своих денег — то, что мы получаем за заверения, уходит в казну гильдии, а нам выдают на одежду и мелочи по полкруга в месяц. У меня в сундуке было сейчас ровно четыре зерна. Мадлон предлагала два круга. Гильдас Кермарек держал на весах девять.

— Найду, — я повторила. — Обещаю.

— Без янтаря, — Эрван вдруг улыбнулся сквозь опухшие веки, слабо, но по-настоящему. — Как в тот раз.

— Без янтаря.

* * *

К полудню я поняла, что выхода нет.

Я перебрала всё. Попросить ссуду под будущие заверения — Янтарный двор не даёт ссуд свидетельницам первой ступени, а если бы и дал, то через мать-настоятельницу, а та первым делом спросила бы, зачем, и дала бы, конечно, но так, что я больше никогда не смогла бы поднять на неё глаз.

Продать что-нибудь — у меня не было ничего, кроме отцовского ножа для разметки и деревянной рыбки, за которые на рынке дали бы два зерна. Я всё-таки достала нож из сундука и долго держала его на ладони. Рукоять, обмотанная кожей, стёрлась там, где лежал отцовский большой палец. Этим ножом он размечал крупный янтарь перед тем, как нести его скупщику, и всегда говорил, что хороший нож — это половина цены. Я положила его обратно. Пойти к Гильдасу.

Девять кругов на весах. «Если вы напишете, что нить мутна по этой причине». Ещё десять он, конечно, тоже простит. Он ведь сам это устроил.

Я сидела на лавке у мастерской, где утром мыла сырец, и смотрела на свои руки. Белые перчатки, которые я наконец снова надела. Ни пятнышка. Девять лет в гильдии — и ни одного нарушенного обета. А теперь на одной чаше весов лежала рука моего брата, а на другой — жизнь человека, которого я однажды уже отправила на дно, пусть и не своими руками.

Нет. Не человека. Его отца.

И если на суде я ошиблась, то сейчас я собиралась ошибиться второй раз — на этот раз нарочно.

Колокол маяка ударил полдень. Я встала, надела плащ гильдии со знаком на плече и пошла вниз, к Рыбному рынку. Вдова Кервен ждала свидетельницу после полудня, и свидетельница должна была прийти.

* * *

Корантен стоял у входа на рынок, у бочек с сельдью, и торговался о цене на угрей так увлечённо, что даже не повернул головы, когда я прошла мимо. Но когда я остановилась у лавки с синей дверью — в двадцати шагах от него, в узком переулке, — он бросил торг и подошёл, будто случайно.

— У тебя лицо, — так он поздоровался.

— Какое ещё лицо?

— Как у человека, которого только что ударили, — он остановился так, чтобы между нами был угол дома и нас не было видно с рынка. — Что случилось?

Я хотела ответить «ничего». Сказать, что это моё дело, что у него своих бед хватает, что мы договаривались о его отце, а не о моём брате. Вместо этого я вытащила из перчатки письмо Эрвана и молча отдала ему.

Он прочёл. Я видела, как у него напрягается челюсть, как пальцы, держащие лист, сжимаются.

— Белые брови, — Корантен вернул мне письмо. — Ваша старшая сестра. Бенуаза.

— Да, она.

— А старшина у него — Гийом Ле Мэн. Я чиню у них водоотводы. Ему бы и в голову не пришло требовать обет за руку сына. Он бы просто выпорол обоих, — Корантен смотрел на синюю дверь, а не на меня. — Это Кермарек.

— Я знаю.

— Чего он хочет?

— Того же, что вчера. Чтобы я написала, что твоя нить

мутна от лжи, — голос у меня дрогнул, и я разозлилась на себя за это. — Тогда он простит Эрвану все девятнадцать кругов. А тебя... Тебя лишат имени, а в день Прилива я встану на круг и всё равно скажу «не вижу». Только к тому времени это будет уже неважно.

Корантен долго молчал. На рынке кричали торговки, кто-то ругался из-за опрокинутой корзины, мимо нас прошла женщина с ведром угрей, и угри в нём шевелились, как живые верёвки.

— Ты пришла сюда, — он произнёс это медленно. — К вдове, которая, может быть, расскажет что-то об отце. Вместо того чтобы идти к Кермареку. С этим письмом в перчатке.

— Я ещё ничего не решила.

— Решила, — Корантен повернулся ко мне. — Ты пришла сюда.

Я не стала спорить. Он был прав, и мы оба это знали.

— Я вытащу твоего брата, — Корантен произнёс это так просто, как говорят «завтра будет отлив».

— У тебя нет денег. Ты сам продал всё, кроме верфей.

— Кроме верфей, — согласился он. — Я вытащу его. До Прилива. Не спрашивай как, я ещё не знаю.

— Это обещание?

Он посмотрел на меня очень внимательно. Как на сваю перед тем, как сунуть нож в распил.

— У меня не бывает обещаний, — Корантен понизил го-

лос. — Ты сама видела. Это намерение. Но я тебе уже говорил: если я передумаю, ты узнаешь об этом раньше. А пока молчу — значит, намерение в силе.

— И как я узнаю, что ты не передумал, а просто молчишь?

— Никак, — он почти улыбнулся. — Придётся поверить. Ты же на это и подписалась на стапеле.

Я смотрела на него и чувствовала, как у меня внутри что-то трескается — не больно, как тонкий лёд, когда на него наступаешь в первый раз за зиму. Я не верила ему. Я не могла ему поверить, у меня не было ни одной причины. Его слово ничего не стоило: ни янтарь, ни залог, ни устав не могли заставить его сделать то, что он сказал.

И всё-таки я впервые в жизни поняла, что хочу поверить, даже не имея возможности проверить.

— Иди, — Корантен кивнул на синюю дверь. — Она ждёт. Я буду здесь.

Я подняла руку, чтобы постучать, и только тогда заметила, что всё ещё сжимаю в кулаке письмо Эрвана. Так сильно, что бумага стала мокрой.

Глава десятая. Вдова старшины

Дверь открыла не вдова, а её мать.

Старуха была маленькой, согнутой почти пополам, в чёрном чепце, из-под которого выбивались седые пряди. Она посмотрела на меня снизу вверх — на плащ, на знак гильдии на плече, на белые перчатки, — и лицо у неё сморщилось, будто она надкусила кислое яблоко.

— Свидетельница, — она не спрашивала. — Нолвенн предупредила, что вы придёте. Я ей твердила, что не надо. Она не слушает. Она никогда не слушала.

— Я могу уйти, если вы против.

— Против, — старуха отступила в сторону, пропуская меня. — Входите. Всё равно ведь не уйдёте, вы все такие.

Внутри лавка оказалась вовсе не лавкой. Когда-то здесь, может быть, и торговали — у окна ещё стоял прилавок, на котором теперь лежали стопкой пустые корзины, — но теперь это было просто жильё. Одна комната внизу, одна наверху, лестница без перил. Пахло луком, сыростью и какими-то травами, горькими, лечебными. На очаге в котелке что-то булькало.

— Наверху, — старуха мотнула головой в сторону лестницы. — Она не встаёт. Третий год уже. Говорите тихо, у неё голова болит от громкого.

Я поднялась. Ступени скрипели под ногами так, что я бо-

ялась проломить их.

Комната наверху была маленькой, с косым потолком и единственным окном, затянутым бычьим пузырём. У окна стояла кровать, а на ней под лоскутным одеялом лежала женщина. Ей можно было дать и сорок лет, и шестьдесят: болезнь стирает возраст. Лицо у неё было серым, щёки ввалились, волосы, когда-то, наверное, тёмные, лежали на подушке редкими сухими прядями. Но глаза смотрели ясно.

— Сядьте, — голос у неё оказался тихим и хриплым. — Табурет у стены.

Я придвинула табурет и села. Вблизи было видно, как тяжело она дышит — коротко, мелко, с присвистом на вдохе.

— Вы Сальве, — Нолвенн Кервен рассматривала меня. — Та, что была на суде. Я думала, вы старше.

— Мне было четырнадцать.

— Я знаю. Мне рассказывали, — она помолчала, переводя дыхание. — Ардуэн-младший приходил ко мне после суда. Я его не пустила. Мне было... не до Ардуэнов тогда. А теперь он прислал сестру, и та сказала, что вы придёте. Что свидетельница Сальве хочет знать правду про Гуэрн. Это правда? Вы хотите?

— Да, хочу.

— Зачем? — Нолвенн смотрела мне прямо в глаза. — Вы же уже знаете правду. Вы её сказали на суде.

Я ждала этого вопроса. Я думала над ним всю дорогу, пока шла от Янтарного двора к Рыбному рынку, пока стояла у

синей двери. И ответа так и не нашла. Поэтому сказала то, что было.

— Я сказала, что видела. Но не знаю, всё ли.

Вдова долго молчала. Потом закрыла глаза.

— Это честно, — она проговорила это, не открывая их.

— За три года вы первая из ваших, кто так говорит.

* * *

Она рассказывала долго, с остановками. Порой замолкала посреди фразы, чтобы отдышаться, и я ждала, глядя на бычий пузырь в окне, через который едва пробивался серый свет. Иногда начинала кашлять, и тогда снизу поднималась старуха с кружкой горячего питья, поила её, сердито смотрела на меня и снова уходила.

Лоэ Кервен работал на Ардуэнов двадцать лет. Сначала простым плотником, потом бригадиром, а последние годы — старшиной работ на всех их дамбах. Он знал каждую сваю на Гуэрне, потому что сам забивал половину из них ещё при деде нынешнего Корантена. Иво Ардуэна он ценил. Не любил, нет, — Лоэ вообще мало к кому был привязан, кроме жены и сына, — но признавал за ним мастерство.

— Он говорил, что Ардуэн-старший никогда не врёт про сваи, — Нолвенн смотрела в потолок. — Что про людей может, про деньги тоже, про погоду и подавно — а про сваи никогда. Говорил, это у них в роду.

Весной Иво Ардуэн дал обет Кермареку починить Гуэрнскую дамбу к осенним штормам. Работы было много: надо

было заменить двенадцать свай на морской стороне, перебрать кладку на стыке, подсыпать глину. Лоэ вёл бригаду всё лето. Дамбу закончили в срок, за неделю до начала штормов. Ардуэн сам прошёл по ней с мерным шнуром, проверил каждую сваю и сказал Кермареку, что обет исполнен, а Хранитель Дамб принял работу.

— А потом был первый шторм, — Нолвенн замолчала, отдышалась. — Дамба выдержала. Лоэ пришёл домой весёлый, выпил сидра, сказал, что теперь до весны можно спать спокойно. А через три дня...

Она снова закашлялась. Я подала ей кружку, которую старуха оставила на полу у кровати. Нолвенн отпила, поморщилась.

— Через три дня он пришёл вечером злой. Не злой — испуганный. Я его никогда таким не видела. Сел вот тут, где вы сидите, и сказал, что Ардуэн нашёл на сваях царапины.

— Какие царапины?

— Он не объяснил. Сказал — свежие. На морской стороне, низко, где только в большой отлив видно. Будто кто-то пробовал пилить, а потом бросил. Или его спугнули, — Нолвенн повернула голову ко мне. — Ардуэн велел ему никому не говорить. Сказал, что сам разберётся. Что пойдёт к свидетельницам.

— К свидетельницам? Зачем?

— Затем, что обет, — вдова говорила медленно, словно каждое слово ей приходилось поднимать со дна. — Лоэ ска-

зал, что Ардуэн хочет просить отсрочки. Обет ведь был — починить к штормам. Это он сделал. Но если кто-то трогает сваи, значит, кто-то хочет, чтобы дамба упала. А если упадёт — все скажут, что Ардуэн плохо починил, и обет нарушен. Он хотел заменить ещё три сваи, на всякий случай. Для этого надо было, чтобы Кермарек согласился продлить срок. А Хранитель Дамб упёрся.

— И он пошёл в гильдию?

— Пошёл. К самой матушке, — Нолвенн смотрела на меня, не мигая. — Лоэ говорил, вернулся оттуда тихий. Сказал, матушка выслушала его и ответила, что обет исполнен. Что дамба починена в срок, и Кермарек её принял, и нить чистая. Что бояться ему нечего, потому что обет говорит о починке, а не о том, что будет после. Сказала: «Ваша нить цела, мастер Ардуэн. Идите домой».

Я сидела на табурете и чувствовала, как у меня холодеют руки даже в перчатках.

— Это правда, — я заставила себя говорить ровно. — Так и есть. Обет был о починке. Если дамба починена в срок, а потом её кто-то сломал, это не нарушение.

— Я знаю, — Нолвенн почти улыбнулась, но улыбка вышла кривая, больная. — Лоэ тоже так думал. Он пришёл домой и успокоил меня: всё в порядке, Нолле, матушка сказала, что нить цела. А через два дня был второй шторм. Ночью. Ардуэн прибежал к нам за полночь, в одной рубахе, мокрый, и сказал, что вода поднимается не так, как надо. Лоэ одел-

ся и ушёл с ним. Он сказал: я ненадолго, Нолле, только посмотрим.

Она замолчала. Надолго. За окном прокричала чайка, где-то внизу старуха загремела посудой.

— Его нашли через четыре дня, — голос Нолвенн стал совсем тихим, она смотрела в потолок. — Под Гуэрнским мысом. Вместе с остальными. А Ардуэн выжил. Он был на гребне, когда прорвало, его отбросило на землю. А Лоэ был внизу, у свай. Ардуэн потом говорил, что Лоэ хотел подпереть их бревном. Не успел.

* * *

Я долго молчала. Мне нужно было о чём-то спросить, но вопросы разбегались, как мальки на мелководье, стоило к ним потянуться.

— Почему вы не рассказали этого на суде?

Нолвенн повернула голову к стене.

— Я болела. Это правда. Я слегла сразу, как Лоэ нашли, и не вставала. На похороны меня несли на носилках, — она помолчала. — А ещё ко мне приходили.

— Кто приходил?

— Сестра из вашего двора. В белых перчатках, как вы. Пришла за день до суда, принесла лекарство. Посидела вот тут же, на этом табурете. Спрашивала, что я знаю про ту ночь. Я ей рассказала — про царапины, про отсрочку, про всё. Она выслушала и сказала, что мне лучше об этом не говорить. Что на суде и так всё ясно, нить порвана, свидетель-

ницы видели. А если я начну рассказывать про какие-то царапины, все решат, что я выгораживаю Ардуэна, потому что муж на него работал. И тогда моего сына...

Она замолчала.

— Что вашего сына?

— У Янна право на сбор. На гильдейской отмели, за Гурнским мысом. Гильдия выдаёт эти права, вы знаете. Его отец добился, перед смертью. Это всё, что у нас есть. Без него мы бы уже давно... — Нолвенн махнула рукой, слабо, не договорив. — Сестра сказала, что право на сбор выдаётся людям, которым гильдия доверяет. И что семья, которая клеветает на суд Совета, вряд ли заслуживает доверия.

— Как она выглядела?

— Я не помню, — вдова закрыла глаза. — Я тогда почти ничего не видела, у меня был жар. Высокая. Старая. Капюшон. Голос тихий. Перчатки белые. Вы все на одно лицо в этих перчатках.

Высокая и старая. Бенуаза рослая, и ей за пятьдесят. Мать-настоятельница тоже немаленькая, хотя в последние годы согнулась от холода в суставах. Фаншон низенькая. Арзель среднего роста. А ещё было двадцать свидетельниц старше сорока, и половина из них высокие.

Это ничего не значило. Ровным счётом.

— Почему вы рассказываете мне это сейчас?

Нолвенн открыла глаза и посмотрела на меня. Долго, внимательно.

— Потому что я умираю, — она произнесла это просто, будто речь шла о погоде. — Лекарь говорит, до весны не дотяну. У Янна есть право на сбор, и мать за ним присмотрит. Мне больше нечего терять. А Ардуэн-младший сидит каждый день у синей двери, когда приходит на рынок. Три года сидит. Думает, я не вижу. Я вижу, у меня окно на переулок.

Я посмотрела в окно, затянутое бычьим пузырём. Сквозь него ничего не было видно, только смутный свет.

— Я думала, что он ненавидит меня за то, что Лоэ пошёл с его отцом в ту ночь, — Нолвенн продолжала тихо. — Решила, он хочет спросить, почему мой муж не спас его отца. А он просто сидит. Ничего не просит, — она помолчала. — Лоэ бы это понравилось. Он не любил, когда просят.

* * *

— Заверьте, — Нолвенн окликнула меня, когда я уже встала. — Мои слова. Под янтарём.

Я замерла.

— Вы хотите дать показание?

— Да. Я знаю, как это делается. Мне Лоэ рассказывал: свидетельница даёт янтарь, человек говорит, а если врёт — камень мутнеет. Если правду — греется, — она протянула руку поверх одеяла. — Я хочу, чтобы осталось. Чтобы, когда меня не будет, кто-нибудь мог взять в руки и проверить. А то скажут, что больная вдова болтала в бреду.

Показание под янтарём — не обет. В нём нет залога и нет нити между двумя людьми. Свидетельница даёт бусину, тот,

кто показывает, держит её в кулаке и рассказывает, что знает, и янтарь либо теплеет — значит, говорящий верит своим словам, — либо мутнеет, если он лжёт. Потом в янтаре остаётся след — не жилка, а облачко, светлое или тёмное. Такие печати хранятся в архиве в отдельных ящиках, и суд Совета принимает их как доказательство.

Я никогда не брала таких показаний сама. Только видела, как это делает мать-настоятельница.

Я развязала кошель и достала бусину. Самую чистую, какая была: светлую, почти прозрачную, без единого пузырька. Положила её на сухую, горячую ладонь вдовы и сомкнула её пальцы.

— Говорите. Поднесите к губам.

Нолвенн Кервен говорила долго. Повторила всё: про царапины на сваях, про отсрочку, про матушку и её слова, про вторую ночь, про Лоэ, про сестру в белых перчатках, которая приходила накануне суда. Голос у неё срывался, она задышалась, останавливалась и начинала снова.

Я смотрела на её кулак. Над ним, в воздухе, плыл тонкий запах смолы — сначала едва заметный, потом всё сильнее. Бусина теплела.

Когда она закончила, я разжала её пальцы. Янтарь в её ладони был горячим, как уголь из печи, и в самой его середине светилось маленькое золотистое облачко, чистое и ясное.

Она не лгала.

— Я вижу и помню, — впервые за всю мою службу эти

слова дались мне с трудом.

На лестнице меня догнала старуха. Она поднималась навстречу с кружкой, но остановилась на ступеньке ниже и загородила мне дорогу, так что мы оказались почти лицом к лицу.

— Та сестра, — она говорила шёпотом, хрипло, оглядываясь наверх. — Которая приходила тогда. Нолле её не помнит, у неё был жар. А я помню. Я ей чай подавала.

— Какая она была?

— Высокая. Тихая. Добрая на словах, — старуха пожевала губами. — Чашку брала двумя руками, как дети. Пальцы у неё не сгибались. Я ещё подумала: бедная, такая молодая для такой хвори.

— Молодая? Та сестра?

— Моложе меня. Мне-то тогда семьдесят было, — она отвела глаза. — Она ещё сказала, что если Нолле не будет болтать, гильдия станет платить за её лекарства. И платила. До весны. А весной перестала, и больше никто не приходил, — старуха протиснулась мимо меня, наверх. — Я Нолле этого не говорила. Не говорите и вы.

Дверь наверху закрылась. Я стояла на скрипучей лестнице и смотрела на свои перчатки, белые, чистые, такие же, как у той сестры.

* * *

Корантен ждал на рынке, у бочек с сельдью. Увидев меня, он оставил какого-то торговца на полуслове и пошёл на-

встречу, не скрываясь.

— Ну что там? — он остановился в шаге от меня.

Мы отошли в тот же закоулок между домами, где разговаривали до этого. Я рассказала ему всё. Кроме чашки, которую держали двумя руками. Этого я не смогла произнести вслух. Про царапины, про отсрочку, которую Кермарек отказался давать, про то, что Иво ходил к матери-настоятельнице и что она сказала ему. Про вторую ночь и Лоэ у свай. Про сестру в белых перчатках.

Корантен слушал молча. Лицо у него было неподвижным, но, когда я дошла до матушкиных слов — «ваша нить цела, мастер Ардуэн, идите домой», — он прикрыл глаза, совсем ненадолго, как от удара.

— Значит, он знал, — Корантен заговорил, когда я закончила. — Отец знал, что кто-то трогает свай. Он пошёл в гильдию за помощью. Ему сказали, что всё в порядке.

— Ему сказали правду. Обет был о починке, не о том, что будет после.

— А через неделю на суде, — он говорил тихо, медленно, словно забывая каждым словом сваю. — Та же самая женщина стояла рядом с тобой и молчала. Пока ты трижды говорила «разрыв полный». Она знала про царапины. Она знала, что отец приходил к ней. И ничего не сказала.

— Может быть, она не придавала значения...

— Анаик, послушай.

— Она моя наставница! — у меня это вырвалось громче,

чем я хотела, и какая-то женщина с корзиной у входа в закоулок обернулась на нас. Я понизила голос. — Она растила меня девять лет. Она... Ты не знаешь её. Она не стала бы. Она мерзнет у огня по полдня, у неё пальцы не гнутся, она не могла бы...

— Я не утверждаю, что она пилила сваи, — Корантен смотрел мне в глаза. — Только то, что она знала и промолчала. Больше ничего. Ты сама это слышала. Ты сама держала бусину, когда вдова это рассказывала.

Я сунула руку в карман и нащупала через ткань бусину Нолвенн. Она всё ещё была тёплой.

— Сестра в белых перчатках, — Корантен продолжал, не повышая голоса. — Высокая, старая. Пришла за день до суда и пригрозила вдове. Сколько у вас высоких старых сестёр?

— Двадцать, не меньше.

— Двадцать, — повторил он. — А сколько из них знали, что вдова Кервен может что-то рассказать?

Я промолчала. Я знала ответ. Знала мать-настоятельница — потому что Иво приходил к ней. И знал тот, кому она могла это рассказать.

— Мне надо идти, — я повернулась к выходу из закоулка.

— Анаик, подожди.

— Нет, — я не обернулась. — Мне надо идти. Я... Мне надо подумать. Одной.

Он не пошёл за мной. Я слышала, что он стоит на месте, но не обернулась, пока не дошла до конца Рыбного рынка и

не свернула на Отмельную лестницу.

Только там, на третьей ступени, я остановилась и прислонилась к стене, потому что ноги вдруг стали ватными.

Печать Нолвенн Кервен лежала у меня в кармане, тёплая, как живое сердце. По уставу её надо было отнести в архив сегодня же, до вечерней воды. Сестра Арзель запишет её в книгу. Через неделю, а может, и позже, мать-настоятельница будет просматривать новые поступления, как делает всегда, и увидит. Возьмёт в руки. Поднесёт к свету.

Я поднялась к себе, открыла сундук и положила печать вдовы рядом с двумя другими — половиной Леонор и холодной пустотой Корантена.

Три печати, которые я не сдала в архив. Три строки устава, которые я нарушила за десять дней. Я сидела на кровати, смотрела на них и думала о том, что ещё месяц назад мне и в голову не пришло бы, что такое возможно.

А потом думала о другом. О том, как мать-настоятельница взяла у меня печать Иво Ардуэна — медленно, с усилием сжав непослушные пальцы, — и сказала: «Сверять нечего».

Глава одиннадцатая.

Вырезанная страница

Наутро я снова стояла у корыта с сырцом. До конца моего наказания оставалось три дня, и мастер Матильда, кажется, решила, что за эти три дня я должна перемыть весь янтарь, который вынесла буря.

Я не возражала. Холодная вода, мокрый песок, однообразная работа руками — это было почти облегчение. Пока я промывала одно решето за другим, мне не нужно было думать. Или, вернее, мысли шли медленно, по одной за раз, как перебирают бусины.

Сестра в белых перчатках, которая держала чашку двумя руками.

Это ничего не значило. У половины Старших пальцы плохо гнутся к пятидесяти. Янтарь в крови не выбирает. Бенуа-за тоже стала держать перо как-то странно в последний год, щепотью, а не пальцами, — я это видела в счётной комнате. И Арзель. И сестра Ганаэль, которая заверяет наймы на правом берегу.

Я повторяла себе это, как молитву. Получалось плохо. — Свидетельница Сальве, — Матильда остановилась у моего корыта с табличкой в руке. — Вы просили сказать вам, когда будет готов список на очистку.

Я не просила. Это Мадлон попросила от моего имени, чтобы не вызывать подозрений, — я поняла это по тому, как Матильда смотрела на меня: с лёгким недоумением, будто не могла понять, зачем наказанной свидетельнице первой ступени список осуждённых печатей.

— Да, мастер. Спасибо.

— Сорок семь печатей. Судебные за триста девятый год и семь за восьмой, которые в прошлый раз не успели, — Матильда протянула мне табличку. — Ферре записалась мне в помощницы. Сказала, что хочет научиться варить. Я так понимаю, это вы её подбили.

— Я подбила?

— Ферре никогда в жизни ничему не хотела учиться добровольно, — Матильда забрала табличку обратно, едва я успела пробежать глазами столбцы. — Ладно. Мне всё равно, кто держит котёл, лишь бы держал крепко. Ваше корыто заканчивается, кстати. Завтра начнёте западное.

Печать Иво Ардуэна стояла в списке двадцать третьей. Я успела увидеть это, прежде чем табличка исчезла у Матильды под мышкой.

* * *

После полудня меня отпустили из мастерской на заверение. Брачное, в Среднем городе, — дочь пекаря выходила за подмастерья с канатной фабрики. Обычно такие обеты заверяют свидетельницы второй ступени, но у сестры Ганаэль разболелась спина, и Бенуаза, сверившись с книгой, ткнула

пальцем в моё имя.

Я была рада. Это были первые за неделю два часа, когда мне не надо было ни мыть сырец, ни думать о холодной бу-
сине в сундуке.

Свадьбу играли во дворе пекарни, под натянутым парусом, потому что с утра моросило. Стол из козел и досок, на нём пироги, сидр, горка гречневых лепёшек с маслом и одно-единственное блюдо сладких булочек с мёдом — их подают только на помолвках и таких праздниках, и дети вокруг стола смотрели на него словно от него зависела их жизнь. Пахло дрожжами, дымом и мокрой шерстью. Гостей было человек сорок: родня, соседи, подмастерья с фабрики в одинаковых синих шейных платках.

Невесте было шестнадцать, жениху — восемнадцать. Она была маленькая, веснушчатая, в платье, перешитом, наверное, из материнского, с венком из поздних астр. Он — высокий, нескладный, с огромными руками, на которых виднелись мозоли от канатов. Когда я вошла во двор, он как раз пытался завязать ей ленту на венке, и пальцы у него не слушались.

— Вы свидетельница? — пекарь, отец невесты, вытер руки о фартук. — Мы думали, придёт старшая. Не обижайтесь.

— Не обижаюсь. Старшая заболела.

— Ну и ладно, — он махнул рукой. — Главное, чтобы легло. Мы с матерью двадцать два года назад давали, у нас до сих пор нить как новая. Вы ведь видите? — он вдруг смутил-

ся, будто сказал что-то неприличное. — Ну, если смотреть.

Я посмотрела. Не нарочно, просто взгляд сам скользнул к его запястью. И увидела.

Брачная нить не похожа на другие. Долговая, наёмная, присяжная — все они тянутся от одного человека к другому, прямые, натянутые, как струна. А брачная скручивается. Две нити, по одной от каждого, сплетаются вместе, как две пряди верёвки, и уходят от одного запястья к другому уже одним жгутом, золотым, плотным. С годами, если обет держат, жгут становится толще. У пекаря он был толщиной с мизинец. Он уходил от его руки через двор, к печи, где хлопотала его жена, и светился так ровно и тепло, что мне захотелось отвести глаза, как от слишком яркого огня.

— Видно. Очень хорошая нить.

Пекарь расплылся в улыбке и пошёл к жене, явно чтобы рассказать.

* * *

Обет давали под парусом, у стола. Невеста и жених стояли лицом друг к другу, держа в кулаках бусины, которые я им дала. Гости столпились вокруг, дети пролезли вперёд, под локти взрослых. Кто-то шикнул, кто-то засмеялся. Мать невесты плакала, вытирая глаза краем передника.

Они клялись по очереди. Голос у невесты дрожал и срывался, жених говорил громко, почти кричал, будто боялся, что его не услышат. Обет обычный, свадебный, тот же, что давали их отцы и деды: жить вместе, делить хлеб и беду, не

уходить к другому. Залог — годы жизни, по десять с каждого. Так клянутся простые люди: такой срок — это много, но не страшно, если не собираешься нарушать.

А я смотрела.

Сначала у невесты — маленькая золотая точка на тонком запястье, где под веснушками бьётся жила. Потом у жениха — крупнее, ярче, нетерпеливее. Две нити потянулись навстречу друг другу через узкое пространство между ними, и, встретившись посередине, не натянулись, как струны, а обвили друг друга. Раз, другой, третий. Сплелись. И золотой жгут, ещё тонкий, но уже настоящий, замкнулся от одной руки к другой.

Бусины в их кулаках потеплели так, что я почувствовала запах смолы с расстояния в три шага.

— Я вижу и помню, — едва я договорила, гости закричали, захлопали, засвистели, а жених, забыв, что держит в руке янтарь, сгрёб невесту в охапку и поднял над землёй.

Я забрала у них бусины, когда они наконец вспомнили о них. Внутри каждой застыла двойная жилка, скрученная, как крошечная верёвочка. Я поднесла одну к свету и долго разглядывала её, хотя нужды в этом уже не было.

Свидетельницы не приносят личных обетов, пока служат. Это пятый свиток, первая строка. Ни долговых, ни наёмных, ни брачных. Мы видим чужие нити, а своих у нас нет и быть не может, потому что свидетельница, связанная обетом с кем-то, перестаёт быть беспристрастной. Нас учат этому на

первом же году. Я никогда не думала об этом всерьёз: в восемь лет и в двенадцать, и даже в шестнадцать, когда получила перчатки, брачный обет казался чем-то очень далёким, взрослым, чужим.

Мне семнадцать. И я впервые подумала, что никогда не увижу такой нити на своём запястье. Даже если захочу. Даже если найду человека, с которым мне будет нужно сплестись.

А Корантен Ардуэн не увидел бы её на своём, даже если бы снял перчатки со всех свидетельниц Кер-Ис-Мора и заставил их смотреть.

Я сама не поняла, почему подумала о нём сразу после себя. Через одну мысль. Как будто это была одна мысль.

— Свидетельница! — мать невесты пробилаь ко мне через толпу, всё ещё со слезами на щеках, и сунула мне в руки завёрнутую в тряпицу медовую булочку. — Возьмите. Вам же, наверное, сладкого не дают у вас там.

— Не дают, — я взяла булочку. — Спасибо.

— Пусть и вам когда-нибудь, — она осеклась, сообразив, кому это говорит, и покраснела до корней волос. — Ох. Простите. Я не то хотела.

— Ничего, — я улыбнулась ей, и, кажется, вышло почти по-настоящему. — Я поняла, что вы хотели.

* * *

Вечером я пошла в архив.

На этот раз мне нужна была не печать. Мне нужна была книга поступлений — толстая, в деревянном переплёте, ку-

да сестра Арзель и её предшественницы записывают всё, что попадает в архив нитей помимо обычных заверений. Находки, дарения, печати из других городов. Вещи, которые приносят люди, потому что не знают, что с ними делать, а гильдия знает.

Если Иво Ардуэн приносил что-то в Янтарный двор в ту осень, это было бы записано там.

Арзель уже ушла. Лампа у входа горела, как всегда, книги стояли на полке над её столом, корешками наружу. Я нашла нужный год — триста девятый — и положила книгу на стол, под лампу.

Записи шли по дням, ровным мелким почерком Арзель. «Печать долговая из Ланнилиса, передана для хранения нотарием». «Обломок янтаря с включением насекомого, принесён сборщиком, передан в мастерскую». «Три печати брачные из распущенного дома Ле Кор, сданы наследником». Весна, лето. Начало осени.

Двадцать третье число месяца Жатвы: «Печать наёмная, неисправная, возвращена в мастерскую».

Двадцать девятое: «Опись архива сверена, недостатков нет». Я перевернула страницу назад. Потом снова вперёд. Двадцать третье, двадцать девятое. Между ними — ничего.

Дамба прорвалась в ночь на двадцать восьмое. Иво Ардуэн приходил к матери-настоятельнице за несколько дней до этого. Вдова говорила — за три дня до второго шторма. Двадцать пятого. Двадцать шестого.

Я поднесла книгу ближе к лампе. Посмотрела на корешок. Между страницами двадцать третьего и двадцать девятого числа, у самого переплёта, торчал узкий бумажный край. Ровный. Слишком ровный — такой, каким бывает край, если его не вырвали, а срезали ножом — острым, вплотную к нитке переплёта, так, что, если не искать, не заметишь.

Одну страницу. Только одну.

Я долго сидела над книгой, проводя пальцем в перчатке по этому краю, туда-сюда, как по распилу на дубовой свае. Потом закрыла книгу и поставила её на место, корешком наружу, так же ровно, как она стояла.

* * *

Он пришёл через водосток, как в первый раз. Я ждала его — не знаю почему. Мы не договаривались, после вчерашнего мы вообще ни о чём не условились. Но я спустилась в третий зал, к дальней стене, к решётке, и села на пол у ящиков с погасшими печатями, и ждала.

Он появился, когда колокол маяка пробил малую воду. Сначала я услышала, как скрипит железо. Потом в лицо потянуло сыростью и морем. Потом из темноты вышел он — мокрый по колено, с прикрытым фонарём, — и остановился, увидев меня на полу.

— Ты здесь, — Корантен смотрел словно не был уверен, что я настоящая.

— Я подумала, что ты придёшь.

— Я не собирался, — он поставил фонарь на пол и сел

напротив, прислонившись спиной к полке. — Хотел неделю тебя не беспокоить. Дать время. Ты сказала, что тебе надо подумать одной.

— А потом?

— А потом не выдержал, — он поднял на меня глаза. — Вчера я был груб. Ты пришла к вдове, хотя у тебя брат на копанках с залогом на руке. Ты держала её бусину. А я стоял и говорил тебе про твою наставницу словно ты сама её выбирала.

— Ты говорил правду.

— Я говорил то, что думаю. Это не всегда одно и то же, — Корантен помолчал. — Я не прошу тебя её обвинять, Анаик. Я прошу тебя только смотреть. Ты ведь это умеешь лучше всех.

Я сидела на холодном каменном полу и смотрела на него, на его мокрые волосы, на мерный шнур, которого больше не было на его запястье, потому что шнур был на моём. И вдруг поняла, что мне нужно ему кое-что сказать.

— Мать вдовы, — я заговорила тихо. — Она догнала меня на лестнице. Она подавала чай той сестре. Она сказала, что сестра держала чашку двумя руками. Что пальцы у неё негнулись.

Корантен ничего не ответил. Только смотрел на меня, и в свете фонаря его лицо было очень спокойным.

— Я тебе вчера не сказала, — я с трудом выговаривала каждое слово. — Я не смогла. Мне казалось, если я скажу

это вслух, это станет правдой.

— А теперь?

— А теперь я нашла вот это, — я рассказала про книгу поступлений, про двадцать третье и двадцать девятое число, про срезанную страницу. — Кто-то вырезал её. Ножом. Аккуратно. Так, чтобы никто не заметил.

— Что там было?

— Не знаю. Только то, что там что-то было. Что-то, что пришло в архив между двадцать третьим и двадцать девятым числом месяца Жатвы, — я посмотрела на него. — Твой отец что-нибудь приносил в Янтарный двор? В ту осень?

Корантен долго молчал. Фонарь между нами чуть потрескивал, и в его свете было видно, как у него дёргается жилка на виске.

— Да, — он наконец заговорил. — Я забыл. То есть нет, не забыл. Я не думал, что это важно.

* * *

За неделю до прорыва Иво Ардуэн вернулся домой под утро, мокрый до пояса, с холщовым мешком на плече. Корантен не спал — он всегда ждал отца, когда тот уходил в водостоки. Отец прошёл на кухню, не снимая сапог, положил мешок на стол и развязал.

— Там был янтарь, — Корантен смотрел в фонарь, а не на меня. — Обломок. Тёмный, почти чёрный, размером с ладонь. Плоский. Будто от плиты отколот. И внутри... — он замолчал, подбирая слово. — Внутри были буквы.

— Буквы? Внутри янтаря?

— Вроде букв. Знаки. Много, рядами, мелкие, как в книге. Будто кто-то писал по смоле, пока она была жидкой, а потом смола застыла. Я никогда такого не видел. Отец держал его под лампой и молчал. Потом сказал, что под дамбой их сотни. Что Аэлиз сложила основание из этого. Что первые дамбы Кер-Ис-Мора стоят не на камне.

— На чём же?

— Он не объяснил. Сказал только, что это надо отдать свидетельницам. Что это их. Что гильдия должна знать, что лежит под городом, — Корантен поднял на меня глаза. — Наутро он завернул обломок в холстину и понёс в Янтарный двор. Вернулся к полудню. Сказал, что отдал матушке Ортанс в руки. Что она очень удивилась и обещала разобраться.

— А потом?

— А потом он больше о нём не говорил. Через три дня нашёл царапины на сваях. Ещё через три — дамба, — он помолчал. — Я спросил его про обломок один раз, после первого шторма. Он сказал: «Матушка разбирается». И больше ничего.

Я смотрела на него и чувствовала, как у меня внутри что-то опускается на дно, как камень в мутной воде. Медленно, без всплеска.

— Двадцать четвёртое, — вырвалось у меня раньше, чем я поняла. — Или двадцать пятое. Если за неделю до прорыва, то двадцать первое — нашёл, двадцать второе — принёс.

Нет. Подожди. Если принёс утром...

— Двадцать второе, — Корантен назвал число словно вырезал его ножом. — Я помню, потому что на следующий день был праздник Жатвы. Отец не пошёл. Сказал, что не до праздников.

Двадцать второе. А в книге поступлений после двадцать третьего ничего нет до двадцать девятого. Значит, срезанная страница — это не двадцать второе. Двадцать второе должно было быть на предыдущей.

Я закрыла глаза, вспоминая. Двадцатое: «Печать долговая, неисправная». Двадцать первое: ничего. Двадцать второе...

— Двадцать второго там была запись, — я открыла глаза. — Я её видела, но не обратила внимания. «Обломок янтаря с включением, принесён, передан в мастерскую». Я подумала, что это сборщик принёс муху в янтаре.

— Передан в мастерскую.

— Да, — я встала. Ноги затекли от холодного пола, но я не обратила на это внимания. — А мастер Матильда говорит, что за всю её жизнь ей не приносили ничего, кроме мух и пауков. Она бы запомнила знаки внутри. Она бы рассказала об этом всей мастерской.

— Значит, до мастерской он не дошёл.

— Значит, до мастерской он не дошёл, — я повторила, потому что иначе не могла. — А на срезанной странице было что-то, что пришло позже. Двадцать пятого или двадцать

шестого. Когда твой отец приходил к матушке второй раз, с царапинами.

Корантен поднялся тоже. Мы стояли посреди третьего зала, среди ящиков с погасшими печатями, и между нами горел фонарь, а за решёткой водостока шумело море.

— Что он мог принести второй раз? — спросил он тихо.

— Не знаю, — я посмотрела на него. — Может быть, ничего. Может быть, там была запись о том, что он приходил и что ему сказали. Записывают ведь и это. «Мастер Ардуэн приходил с жалобой на повреждение свай. Матушка рассмотрела, обет признан исполненным». Если бы такая запись осталась, суд увидел бы, что он предупреждал. Что он знал о порче до прорыва и сам пришёл в гильдию.

— И тогда нельзя было бы сказать, что он плохо починил дамбу.

— Тогда нельзя было бы сказать, что он нарушил обет, — я договорила за него. — Потому что тогда все спросили бы: кто испортил сваи? И почему гильдия, которая знала, ничего не сделала?

Мы долго молчали. Где-то далеко за решёткой волна ударила в обрыв, и по водостоку прокатилось глухое эхо.

— Через пять дней очистка, — я произнесла это вслух, чтобы услышать. — Мадлон обещала достать печать твоего отца. Я посмотрю на неё ещё раз, на рассвете, при ровном свете. Если там что-то есть, я увижу.

— А если ничего?

— Тогда... — я запнулась. — Тогда я всё равно буду знать про страницу. И про обломок. И про чашку.

Корантен подобрал фонарь.

— Послезавтра вечер обручённых у Кермареков, — он произнёс это, уже отворачиваясь к водостоку. — Мне надо будет там быть. И тебе тоже: свидетельница обручения всегда приходит, так положено. Нам придётся при всех делать вид, что мы друг друга ненавидим.

— Это нетрудно, — ответила я, сама не знаю зачем.

Он обернулся. В свете фонаря я увидела, что он улыбается — впервые не одними губами, а так, что у глаз собрались морщинки.

— Раньше было нетрудно, — Корантен шагнул к решётке. — Теперь я не уверен, что у меня получится.

Железо скрипнуло, и он исчез. Сквозняк из водостокадохнул морем мне в лицо и затих.

Я осталась стоять в третьем зале. В кармане у меня лежала завёрнутая в тряпицу медовая булочка со свадьбы, о которой я совсем забыла. Я достала её, развернула и съела прямо там, среди погасших печатей, стоя, и она была очень сладкой. Таких я не ела с тех пор, как мне было восемь лет.

Глава двенадцатая.

Вечер обручённых

Вечер обручённых устраивают на десятый день после обеда у Маяка. Так повелось с тех пор, когда Кер-Ис-Мор ещё помнил Аэлиз: дом невесты зовёт к себе дом жениха, свидетельницу обручения и тех, кого хочет видеть, кормит их, поит, и все делают вид, что десять дней назад ничего особенного не случилось. Говорят, первые такие вечера длились до рассвета и на них мирились даже кровные враги. Теперь это просто праздник, на котором знать показывает друг другу новые платья.

Мне платья не полагалось. Свидетельница приходит на вечер обручённых в том, в чём заверяла обет, — в некрашеной шерсти, с белыми перчатками и кошелём бусин на поясе. Мадлон, которая помогала мне собираться, отнеслась к этому как к личному оскорблению.

— Все будут в шелках, — она туго заплетала мне косу. — А ты как моль. Как бледная моль на празднике у бабочек. Хотя бы ленту дай вплести.

— Нельзя ленту.

— Тогда хотя бы улыбайся. Моль, которая улыбается, — это уже почти бабочка.

Я не знала, смогу ли улыбаться. Ортанс, которая не вста-

вала с постели три дня, утром прислала сказать, что поедет со мной. Вечер обручённых перед Приливом Долга — не простой праздник, и мать-настоятельница гильдии обязана на нём быть. Так написано. Так было всегда.

Я думала о чашке, которую держали двумя руками, и о срезанной странице, и о том, что мне придётся сидеть рядом с ней в коляске всю дорогу до дома над отмелями.

* * *

Мы ехали молча. Ортанс сидела, закутавшись в два плаща, с жаровней в ногах, и смотрела в окно, где проплывал Средний город — мокрые крыши, огни в окнах, люди под навесами лавок. Её лицо в сумерках казалось вылепленным из воска. Один раз она закашлялась, долго, тяжело, прижимая к губам платок, и я отвернулась, чтобы не видеть пятна на полотне. Но всё равно увидела краем глаза: желтоватое, тягучее, как свежая смола.

— Ты избегаешь меня, — Ортанс заговорила, когда мы уже поднимались на кручу, к дому Кермареков. Не повернув головы.

— Я была в мастерской, матушка. Вы сами назначили.

— Ты была в мастерской днём. А вечером ходила в архив, — она говорила так спокойно, будто перечисляла мои заверения за неделю. — Арзель отмечает, кто берёт книги поступлений. Ты брала книгу триста девятого года.

У меня пересохло во рту. Я не знала, что Арзель отмечает и это.

— Я искала, приходило ли что-нибудь от Ардуэнов в ту осень.

— Зачем тебе?

— Хотела понять, что знала гильдия.

Коляска качнулась на выбоине. Ортанс поморщилась, будто у неё заныли кости.

— Гильдия знала то, что сказали ей свидетельницы на суде, — она наконец повернулась ко мне. Глаза у неё были светлые, как вода в полдень, и очень усталые. — Анаик, ты ищешь то, чего нет. Ты хочешь, чтобы Иво Ардуэн оказался невиновен, потому что тогда ты сама окажешься ни в чём не виновата. Я понимаю. Мне тоже было семнадцать, и я тоже однажды дала показание, после которого человек ушёл в море. Это не проходит. Но и не исправляется.

— А если он и правда был невиновен?

— Тогда его нить была бы цела, — Ортанс отвернулась к окну. — Ты видела её. И я тоже. Нить не лжёт, девочка. Лгут люди. Вот и всё, что нужно знать.

Коляска остановилась у ворот. Лакей в синей куртке открыл дверцу, и в лицо нам ударил свет и музыка.

* * *

Дом Кермарексов в этот вечер горел изнутри, как фонарь. Во всех окнах стояли свечи, холл был увешан гирляндами из сухого вереска, а в большом зале на втором этаже, где обычно, наверное, принимали скупщиков из-за моря, играли три скрипки и волынка. Гостей было много — человек сто, ес-

ли не больше. Все семь домов Совета, их жёны, их дети, их секретари и родня. Шелка, бархат, серебро. И янтарь — на шеях, в ушах, на пальцах, в пряжках. Столько янтаря я не видела даже в мастерской.

Мадлон была права. В своей серой шерсти я выглядела как моль.

Мать-настоятельница посадили в кресло у камина, на почётное место, и к ней сразу потянулась вереница — главы домов, их жёны, кланялись, целовали руки, что-то говорили. Органс отвечала коротко и тихо, не вставая. Я стояла у неё за плечом, как положено, и смотрела на зал.

Гильдас Кермарек ходил среди гостей, огромный, румяный, с цепью Хранителя на груди, и смеялся громче всех. Леонор стояла у окна с несколькими девушками своего возраста. На этот раз она выбрала цвет ночного моря, почти чёрный, с серебряной вышивкой волнами по подолу, — и жемчужная нить в волосах. Она была очень красивой и очень далёкой.

Ардуэны пришли последними. Корантен, Гвенола и однорукий Ронан, все трое в тёмном, без украшений, как будто на похороны, а не на праздник. Когда они вошли, музыка не стихла, но разговоры в зале стали тише, и многие головы повернулись к дверям. Я видела, как Гильдас идёт им навстречу, раскинув руки, и как Корантен останавливается, не дойдя до него трёх шагов.

— Дорогой зять! — Гильдас провозгласил это на весь зал.

— Почти зять. Через тридцать дней. Если, конечно, нить прояснится.

Кто-то засмеялся. Кто-то нет.

— Хранитель Дамб, — Корантен поклонился ровно настолько, насколько полагалось, и ни на волос ниже. Я вспомнила, где видела такой поклон: так кланялся сетевщик Ле Дрен на Нижнем причале. — Благодарю за приглашение.

— Не за что, не за что, — Гильдас положил ему руку на плечо, тяжело, по-хозяйски. — Будь как дома. Скоро это и будет твой дом. Половина твоего, во всяком случае.

Корантен ничего не ответил. Он просто стоял и ждал, пока рука уйдёт с его плеча, и через несколько ударов сердца Гильдас её убрал и отошёл к другим гостям, смеясь.

Гвенола сразу пропала где-то в толпе. Ронан встал у стены, как часовой. А Корантен прошёл через зал к камину, к креслу матери-настоятельница, и поклонился ей — глубже, чем Кермареку.

— Матушка Органс.

— Мастер Ардуэн, — голос у неё был ровным. — Вы похожи на отца.

— Мне часто так говорят.

— Он тоже кланялся мне ниже, чем Хранителю, — Органс смотрела на него снизу вверх, из глубины кресла. — Гильдас никогда ему этого не прощал.

Корантен выпрямился. На меня, стоявшую за креслом, он даже не взглянул.

— Мой отец думал, что гильдия честнее Совета, — он ответил спокойно. — Он многое считал.

— Считал, — согласилась Ортанс. — Он был хорошим мастером.

На одно мгновение мне показалось, что между ними что-то произошло — что-то, чего я не поняла. Будто два человека, стоя на разных берегах, на секунду увидели друг друга через воду. Потом Корантен поклонился ещё раз и отошёл. А мать-настоятельница прикрыла глаза и долго сидела так, не шевелясь.

* * *

Танец свидетельницы — старый обычай. Говорят, его придумала сама основательница гильдии, хотя, наверное, это неправда: все старые обычаи Кер-Ис-Мора приписывают Аэлиз, даже те, которые появились лет сто назад. Свидетельница обручения открывает вечер, танцуя сначала с женихом, потом с невестой, а потом соединяет их руки и отходит. Будто она — нить, которая связывает двоих. Будто без неё они не нашли бы друг друга.

Я знала этот танец. Нас учили ему на третьем году, заодно с другими обрядами, в длинном холодном зале Янтарного двора, где вместо партнёров у нас были деревянные столбы. Я никогда не танцевала его с живым человеком.

Скрипки заиграли медленно, торжественно. Гости расступились, освобождая середину зала. Гильдас хлопнул в ладоши, и все замолчали.

Я вышла на середину. Корантен — с другой стороны. Мы остановились в двух шагах друг от друга, как положено, и поклонились.

Он не смотрел на меня. Его лицо было холодным, неподвижным, и я подумала, что он и правда очень хорошо умеет ненавидеть. А потом мы шагнули навстречу друг другу, и он взял мою руку — в перчатке, едва касаясь пальцами, — и повёл.

Танец свидетельницы медленный. В нём много поворотов и мало прикосновений: только руки, только пальцы, никогда ближе. Мы двигались по кругу, и зал плыл вокруг нас — свечи, лица, шелка, — и я старалась смотреть поверх его плеча, на стену, на гирлянды из вереска, куда угодно, только не на него.

— Ты наступила мне на ногу, — он прошептал, почти не шевеля губами, на третьем повороте.

— Не наступила.

— Наступила. На левую. Не дёргайся, все смотрят.

— Я не дёргаюсь.

— Дёргаешься. Как на Гуэрне, — он развернул меня под рукой, медленно, и снова поймал мою ладонь. — Нас учили этому танцу в детстве. Отец заставлял, говорил, что пригодится на вечере обручённых. Я думал, что танцевать его буду с какой-нибудь старой свидетельницей с белыми бровями.

— Ну и как, разочарован?

— Пока не решил.

Я чуть не рассмеялась и прикусила губу. Мы сделали ещё один круг. Музыка шла медленно, скрипки тянули одну долгую ноту, и мы стояли рука к руке, лицом к лицу, — так полагалось по танцу на счёт до шести.

— Я знаю, как вытащить твоего брата, — он выдохнул это на счёт «три», тихо, глядя мне в глаза, и на счёт «шесть» уже снова смотрел поверх моей головы. — Завтра. На рынке, в полдень. Приходи.

— Как ты это сделаешь?

— Увидишь сама.

Мы разошлись на поворот. Гильдас смотрел на нас со своего места, сложив руки на груди. Леонор у окна стояла неподвижная, тёмная, со слишком прямой спиной. И мать-настоятельница в кресле у камина не сводила с нас глаз.

Последний поворот. Корантен довёл меня до края круга, поклонился и отпустил мою руку — чуть позже, чем полагалось по танцу. Совсем чуть-чуть. Никто, кроме меня, этого не заметил.

Я повернулась к Леонор.

С ней танец шёл иначе. Леонор двигалась легко, правильно, без единой ошибки, как будто танцевала его каждый день, и лицо у неё было спокойным и вежливым. Только на повороте, когда мы оказались лицом к лицу, она сказала совсем тихо:

— Мне нужно с тобой поговорить. Наедине. После.

— О чём?

— Не здесь.

Я соединила её руку с рукой Корантена посреди зала, под взглядами ста гостей, и отошла. Они стояли рядом, держась за руки, и не смотрели друг на друга. Гости захлопали. Гильдас поднял кубок. А я стояла у края круга, и ладонь у меня под перчаткой горела словно я держала в ней горячий янтарь.

Едва гости снова рассыпались по залу, ко мне через толпу протиснулся Гильдас с кубком в руке. Он не дал мне отойти к стене, встал рядом так, чтобы нас видели все, и поднял кубок.

— Прекрасно, свидетельница! — он говорил громко, весело, для зала. — Вы так хорошо их связали, что, кажется, нить уже прояснилась. Или я ошибаюсь?

Вокруг засмеялись. Кто-то из гостей захлопал.

— Нить проверяется в день Прилива, мастер Кермарек, — я ответила так же громко. — У Маяка. Как велит устав.

— Ох уж этот устав, — он покачал головой, будто я была упрямым ребёнком, и наклонился ко мне, понизив голос так, чтобы слышала только я. — Сестра Бенуаза передаёт, что ваш брат здоров. Пока. Ему повезло со старшиной. Ле Мэн — человек мягкий, он даст мальчику дотянуть до Прилива, не нагружая его сверх меры. Если, конечно, ничего не изменится.

Он выпрямился, улыбнулся залу и пошёл дальше, к гостям, раскланиваясь налево и направо. А я стояла с пустыми руками, и мне казалось, что все сто человек в зале видят, как

у меня дрожат пальцы.

* * *

Леонор нашла меня через склянку, в зимнем саду — длинной стеклянной галерее на западной стороне дома, где Кермареки выращивали в кадках какие-то заморские деревья с тёмными блестящими листьями. Здесь было тепло, влажно и пусто: гости остались в зале, а слуги бегали по лестницам с подносами.

— Сядь сюда, — Леонор указала на скамейку между двумя кадками. Сама осталась стоять.

Я села. Она долго молчала, глядя на тёмное стекло, за которым внизу лежали копанки, невидимые в ночи.

— Ты знаешь, кто пишет отцовские письма? — спросила она вдруг.

— Секретарь, наверное.

— Его зовут Эмиль Гарек, — Леонор не повернулась ко мне. — Он у отца шесть лет. Сын учителя из Среднего города. У него самый красивый почерк в Кер-Ис-Море, и он знает наизусть все свитки вашего устава, и ещё четыре языка, и он смеётся, когда я несу глупости, а несу я их только при нём.

Я молчала. Я уже поняла, о чём она, и не знала, что сказать.

— Это он нашёл двенадцатую строку, — Леонор наконец повернулась. — За одну ночь. Отец велел ему, и он нашёл. А потом пришёл ко мне и сказал: «Твоя свидетельница очень

смелая или очень глупая. Я пока не понял». Я сказала, что ты была и тем, и другим с шести лет.

— Леонор, послушай...

— Подожди. Дай я договорю, а то не решусь никогда, — она глубоко вздохнула. — Я выйду за Ардуэна в день Прилива. Это долг, я это знаю. Город, обет Аэлиз, море, всё это. Я выйду. Но брак, заключённый обетом, можно распустить. Устав, пятый свиток. По согласию обеих сторон, перед той же свидетельницей. Через год или два, когда Прилив пройдёт и все про это забудут. Ардуэн вернёт себе имя и половину отцовских долгов прощёнными, а я получу... — она замолчала. — Я получу право выйти за кого захочу.

— За Эмиля Гарека.

— За Эмиля Гарека, — Леонор произнесла это словно впервые позволила себе сказать вслух. — Отец, конечно, будет в ярости. Но к тому времени он ничего не сможет сделать. Распущенный обет — это закон.

Я сидела на скамейке и смотрела на неё. На её прямую спину, на руки, сжатые так, что побелели пальцы. На лицо, по которому впервые за весь вечер что-то было видно.

— Зачем ты рассказываешь это мне?

— Потому что ты будешь той свидетельницей, — Леонор присела рядом со мной на край скамейки. — Через год или два. Роспуск заверяет та же свидетельница, что принимала обет. Или её преемница, если её нет. Мне нужно знать, что ты согласишься. И чтобы Ардуэн не отказал. А с ним я го-

ворить не могу: он смотрит на меня словно я — одна из отцовских мух в янтаре.

— Ты хочешь, чтобы я поговорила с ним?

— Я хочу, чтобы ты сказала мне, можно ли с ним договориться, — Леонор смотрела мне прямо в глаза. — Ты его знаешь. Я видела, как вы танцевали.

У меня похолодело внутри.

— Мы танцевали танец свидетельницы.

— Вы танцевали его словно знаете друг друга десять лет, — голос у неё был ровным. — Отец этого не заметил, он смотрит только на деньги. Матушка Ортанс, по-моему, обратила внимание. А я — точно. Не бойся, я никому не скажу. Мне незачем. Мне просто нужно знать, могу ли я на него рассчитывать.

Ответа у меня не было. Я не могла сказать ей правду. Не могла объяснить, что распускать окажется нечего, потому что никакого обета нет и не будет, потому что бусина Корантена останется холодной в день Прилива так же, как десять дней назад. Что через тридцать дней, если ничего не изменится, я встану на круг Аэлиз и скажу «не вижу», и её жениха поведут к Камню Возврата, а её саму, может быть, выдадут за двоюродного племянника отца с левого берега.

— С ним можно договориться, — я говорила медленно, выбирая каждое слово. — Он держит то, что говорит. Если он согласится, он не отступит.

— Без янтара?

Я вздрогнула.

— Что ты сказала?

— Ты сказала это словно проверила, — Леонор смотрела на меня очень внимательно. — Без нити. Без печати. Как будто просто знаешь.

— Я... — у меня перехватило горло. — Да. Просто знаю.

Леонор долго молчала. Потом встала, разгладила синий подол.

— Ты изменилась, — она произнесла это тихо, глядя на меня сверху вниз. — Та девочка в сарае никому не верила на слово. Даже мне.

— Тебе верила.

— Нет. Ты просто не хотела, чтобы я ушла. Это не одно и то же, — она пошла к выходу из галереи и остановилась у двери. — Отец знает про твоего брата. Это он велел Ле Мэну потребовать обет. Я узнала вчера, от Эмиля. Мне жаль. Я ничего не могу сделать, у меня нет своих денег, всё отцовское. Но я хочу, чтобы ты знала, что я не с ним в этом.

— А в чём ты с ним?

— В том, что город должен стоять, — Леонор обернулась. — А в остальном — посмотрим.

Она ушла. Я сидела в зимнем саду среди чужих деревьев и думала о том, что меня только что спросили, можно ли верить Корантену Ардуэну, — и я ответила «да» быстрее, чем успела подумать.

* * *

Домой мы ехали за полночь. Ортанс почти всю дорогу молчала, закрыв глаза, и я решила, что она спит. Коляска скрипела, жаровня в ногах остывала, за окном тянулись тёмные дома Среднего города.

У ворот Янтарного двора, когда лакей уже взялся за дверцу, мать-настоятельница вдруг сказала, не открывая глаз:

— Ты хорошо танцевала.

— Спасибо, матушка.

— Слишком хорошо, — Ортанс медленно открыла глаза и посмотрела на меня. — Для девушки, которая ненавидит своего партнёра.

Она подала руку лакею, чтобы он помог ей выйти, и больше ничего не сказала. А я ещё долго сидела в остывшей коляске, не в силах пошевелиться, и смотрела на свою правую ладонь в белой перчатке, будто на ней могло остаться что-то видимое.

Глава тринадцатая. Весовая палата

Весовая палата стоит посреди Рыбного рынка, на том месте, где, говорят, ещё при Аэлиз взвешивали первый янтарь, вынесенный морем после Разрыва. Это длинное каменное здание с высокими дверями и окнами под самой крышей, и внутри у него всегда пахнет мокрым камнем, воском и деньгами.

Там стоят городские весы — огромные, медные, с чашами в человеческий рост, — и тут же, за длинными столами, сидят писари Совета, которые записывают все сделки, крупнее десяти кругов. Если кто-то в Кер-Ис-Море что-то продаёт, сдаёт или покупает всерьёз, он делает это здесь, при людях, при писарях и при свидетельнице.

Я пришла за полсклянки до полудня. Сказала Бенуазе, что иду заверять на рынок, и это была правда: в палате всегда нужна свидетельница, и сегодня по книге дежурила сестра Ганаэль, но спина у неё по-прежнему болела, и она с радостью уступила мне место.

Корантена ещё не было. Зато был Гильдас Кермарек.

Он сидел у дальнего стола, в кресле, которое для него, видимо, принесли из соседней конторы, и разговаривал со старшим писарем. Рядом стояли двое его людей в синих куртках. Увидев меня, Гильдас поднял брови — без удивления, скорее с интересом, как человек, который ждал одну

карту, а получил другую, но и эта неплохая.

— Свидетельница Сальве, — он не встал. — Не ожидал вас здесь.

— Я дежурю, мастер Кермарек.

— Вот как, — он чуть склонил голову набок. — А мне сказали, что сегодня сестра Ганаэль.

— Сестре Ганаэль нездоровится.

— Многим вашим сёстрам в последнее время нездоровится, — Гильдас улыбнулся. — Говорят, это от холода в крови. Берегите себя, свидетельница. Вы ещё так молоды.

Я прошла к столу свидетельницы, в угол у весов, и села. Руки у меня были холодными даже в перчатках.

Зачем здесь Гильдас? Корантен велел прийти на рынок в полдень. Не в палату — на рынок. Но я зашла сюда по привычке, потому что не знала, куда ещё идти, и вот — Хранитель Дамб, сидящий в кресле, как в собственном доме.

Двери палаты открылись, и вошёл Корантен.

С ним были Гвенола и Ронан. Сестра — в чистом платье, впервые на моей памяти не подоткнутом, с волосами, убранными под чепец, отчего она выглядела вдруг совсем взрослой. Ронан — в старом камзоле, с которого кто-то тщательно отчистил все пятна. Корантен нёс под мышкой деревянный футляр, длинный, потёртый, с медными уголками.

Он прошёл через всю палату, не глядя ни на меня, ни на писарей, прямо к столу Гильдаса, и остановился перед ним.

— Хранитель Дамб, — Корантен поклонился. — Спаси-

бо, что пришли.

— Как я мог отказать будущему зятю? — Гильдас развёл руками. — Твоё письмо было очень любопытным, Ардуэн. Очень. Я его перечитывал трижды. Но давай-ка ещё раз, при писарях. Чтобы я не ошибся.

Корантен положил футляр на стол и открыл его. Внутри, на тёмном бархате, лежали документы — свёрнутые в трубку листы, перевязанные лентами, и два больших бронзовых ключа.

— Дом Ардуэн предлагает Хранителю Дамб в аренду два стапеля своих верфей, первый и второй, — Корантен говорил ровно, громко, так, что слышала вся палата. — С лесом, с инструментом, с правом найма плотников. На год. Начиная с сегодняшнего дня.

В палате стало тихо. Писари перестали скрипеть перьями. Двое торговцев у весов, которые только что спорили о цене на тюки шерсти, замолчали и обернулись.

— За сколько? — Гильдас откинулся в кресле.

— Двадцать пять кругов. Серебром. Сегодня.

Кто-то из писарей присвистнул. Я сидела у весов и не могла поверить своим ушам. Двадцать пять кругов за год аренды двух стапелей — это было почти даром. Эти верфи — единственные в городе, где можно построить корабль для дальнего плавания. Кермареки уже десять лет заказывали свои суда за морем, потому что Ардуэны отказывались на них работать. Год с этими стапелями стоил втрое больше. Вчетверо.

Гильдас тоже это понимал. Я видела, как у него сузились глаза.

— Почему так дёшево?

— Мне нужны деньги, — Корантен ответил так просто, будто речь шла о погоде. — Сегодня.

— Зачем они тебе?

— Это моё дело.

— Ну что ж, — Гильдас помолчал, разглядывая его. — Справедливо. Договор — дело святое. Но ты ведь знаешь, мой мальчик, что такие вещи скрепляются обетом. Аренда на год, с залогом. При свидетельнице, — он повернул голову ко мне. — Как удачно, что здесь сегодня свидетельница Сальве. Она ведь так хорошо знает твою нить.

У меня похолодело внутри.

Аренда — это обет. Конечно, это обет. Всё в Кер-Ис-Море, что крупнее мешка картошки, скрепляется обетом. Тот, кто берёт, клянётся платить и вернуть в срок, тот, кто сдаёт, — не забирать раньше и не сдавать другому. Залог с обеих сторон. Нить от руки к руке.

Корантен не мог дать обет. Бусина в его кулаке останется холодной, как десять дней назад. Я буду смотреть на неё на глазах у Гильдаса Кермарека, двух его слуг, шести писарей Совета и двух десятков торговцев. И мне придётся сказать «не вижу».

Я посмотрела на Корантена. На меня он не взглянул. Он смотрел на Гильдаса, и лицо у него было совершенно спо-

койным.

— Обет даст сестра.

* * *

Гильдас засмеялся. Громко, раскатисто, на всю палату.

— Сестра? — он вытер глаза. — Ардуэн, ты что, боишься взять янтарь? После маяка?

— Я под мутной нитью, Хранитель, — Корантен не повысил голоса. — До проверки в день Прилива. Спросите свидетельницу, может ли человек с мутной нитью приносить новые обеты.

Все головы повернулись ко мне.

Я знала ответ. Второй свиток, тринадцатая строка, сразу после той, которую я заучила в детстве, переписывая устав в наказание. Тот, кто несёт мутную нить, не приносит иных обетов до её прояснения, дабы новые нити не спутались со старой. Я помнила эту строку так же хорошо, как свои пальцы. И Корантен, кажется, тоже её знал. Или кто-то ему подсказал.

— Не может, — я встала. Голос мой прозвучал в каменной палате неожиданно громко. — Второй свиток, тринадцатая строка. Человек с мутной нитью не приносит новых обетов до её прояснения. Я не стану заверять его обет до дня Прилива. Ни одна свидетельница не станет.

Гильдас перестал смеяться. Он смотрел на меня так долго, что я успела сосчитать удары сердца, и всё-таки выдержала этот взгляд, хотя мне очень хотелось сесть обратно и спря-

тать руки под стол.

— Вы очень хорошо знаете устав, свидетельница, — наконец проговорил он.

— Это моя служба.

— Да, — он снова откинулся в кресле и повернулся к Корантену. — Значит, ты прячешься за сестру. Глава дома Ардуэн, наследник верфей, жених моей дочери — прячется за спину шестнадцатилетней девчонки, потому что боится, что его нить опять окажется мутной. — Он произнёс это медленно, смакуя, громко, для всей палаты. — Твой отец хотя бы клялся сам. Плохо, но сам.

Корантен стоял неподвижно. Только пальцы, лежавшие на крае стола, чуть сжались.

— Обет даст сестра, — повторил он.

— Хорошо, — Гильдас махнул рукой. — Мне всё равно, чья рука держит янтарь, лишь бы нить легла. Но условия будут мои, Ардуэн. Двадцать пять кругов — это мало для такого спешного дела. Я не люблю спешку, в ней всегда есть подвох. Тридцать.

— Двадцать пять, — Корантен не моргнул. — Вы платите меньше.

— Я плачу больше, чем ты думаешь, — Гильдас подался вперёд. — Я плачу двадцать пять. Но в аренду идут все три стапеля. И мастерская при них. И право ставить своих людей на воротах.

Палата снова затихла. Все три стапеля — это значило, что

на год у Ардуэнов не останется ничего. Ни места, где строить, ни угла, где чинить, ни даже доски, на которой сидеть и сращивать трос по вечерам. Сорок плотников, которые трудились у Ардуэнов, перейдут к Кермарекам. Или уйдут.

— Третий стапель пустой, — голос Корантена звучал ровно. — Он вам не нужен.

— Мне нужно, чтобы на нём не сидел ты, — Гильдас улыбнулся. — Все три. Или никакой сделки. Решай быстро, у меня ещё дела.

Корантен долго смотрел на него. Потом повернул голову — впервые за всё это время — и посмотрел на меня. Совсем коротко, мгновение, не дольше. Я не знаю, что он увидел у меня на лице.

— Все три, — уступил он.

* * *

Обет аренды давала Гвенола.

Она стояла у стола свидетельницы, бледная под загаром, в своём слишком взрослом чепце, и держала бусину в кулаке так крепко, что у неё побелели костяшки. Гильдас стоял напротив, с тёмно-медовой бусиной в широкой ладони, и улыбался.

Писарь зачитывал условия, и я слушала вполуха, потому что знала их наизусть ещё по дороге: все три стапеля с мастерской переходят к Кермареку на год, с правом найма и своей стражей на воротах; плата — двадцать пять кругов серебром, сразу. Залог Ардуэнов — береговая половина вер-

фей, если по истечении года стапели вернутся порченными. Залог Кермарека — та же сумма вдвойне, если он сдаст их кому-то ещё или бросит раньше времени.

— Понимаете ли вы залог? — я спросила это у Гвенолы.

— Понимаю, свидетельница.

— Вам шестнадцать лет. Вы можете отказаться.

— Не могу, — она ответила совсем тихо, так, что услышала только я. А вслух добавила: — Давайте.

Они говорили по очереди. Гильдас — легко, уверенно, как человек, который клялся сотни раз. Гвенола — с остановками, глядя в пол, но ни разу не сбившись. Я смотрела.

Золотая точка у её запястья вспыхнула на третьей фразе — маленькая, яркая, решительная. У Гильдаса — сразу, едва он открыл рот, крупная, ровная, привычная. Нити потянулись друг к другу через стол и легли — натянулись, затвердели. Гвенола Ардуэн, шестнадцати лет, только что заложила половину всего, что осталось у её семьи, ради мальчишки с копанок, которого никогда не видела.

— Я вижу и помню, — голос у меня не дрогнул. Я сама удивилась.

Гильдас кивнул одному из своих людей. Тот вышел вперёд и высыпал на чашу городских весов кошель. Серебро зазвенело о медь. Писарь пересчитал вслух: двадцать пять кругов, все полновесные, ни одного обрезанного. Корантен следил за счётом, и лицо у него было как у человека, который смотрит на собственные похороны.

Потом он сгрёб серебро с чаши в мешочек, отсчитал от него на ладонь горсть монет и повернулся к Гильдасу.

— Девять кругов, — он протянул ладонь. — Долг Эрвана Сальве перед домом Кермарек. По обету трёхлетней давности. Я выкупаю его.

Гильдас перестал улыбаться.

Палата, которая только что начала снова шуметь, опять затихла. Я видела, как писари переглядываются, как торговцы у весов вытягивают шеи. Как Гильдас медленно, будто через силу, поворачивает голову ко мне, а потом снова к Корантену.

— Вот, значит, зачем тебе деньги, — Гильдас произнёс это тихо, без всякой игры. — Сегодня.

— Долг выкупается по воле должника или того, кто платит за него, — Корантен не опускал ладонь. — Обет найма с залогом в годы работы. Устав, второй свиток. Свидетельница подтвердит.

— Подтверждаю, так и есть, — я ответила раньше, чем он посмотрел на меня.

Гильдас долго не двигался. Потом взял серебро с ладони Корантена, не глядя, и пересыпал в руку своего слуги.

— Ну что ж, — губы у него растянулись, но глаза остались холодными. — Ты купил себе мальчишку с копанок за три стапеля, Ардуэн. Хорошая сделка. Твой отец был бы горд.

— Ещё десять, — Корантен не ответил на это. — Старшине Ле Мэну, за руку его сына. Он здесь?

Он был здесь. Я не заметила его раньше — плотный, рыжебородый человек в кожаном фартуке, стоявший у дверей и мавший в руках шапку. Корантен подошёл к нему сам и высыпал ему в ладони десять кругов, и старшина Гийом Ле Мэн, глядя на серебро, вдруг покраснел до корней волос и пробормотал что-то, чего я не расслышала.

— Мне велели, — Ле Мэн поднял глаза на Корантена. — Мастер Ардуэн, я бы сам... Мне велели.

— Я знаю, — Корантен отвернулся от него. — Свидетельница, позовите мальчика.

* * *

Эрвана привели через склянку. Его, оказывается, держали в сарае за палатой с самого утра — Гильдас велел привести его на всякий случай, «чтобы сделка, если будет, была при должнике». Он вошёл, щурясь от света, в своей серой от ила рубахе, и остановился у дверей, увидев столько людей.

Потом увидел меня, и лицо у него стало таким, что мне пришлось на миг отвернуться.

Исполнение долга заверяется так же, как сам обет. Должник и заимодавец берут бусины, свидетельница смотрит, и нить, когда долг уплачен, не рвётся и не гаснет, а тает. Медленно, красиво, от середины к краям, как распускается узел, если потянуть за правильный конец. Я видела это сотню раз. Но никогда — на запястье своего брата.

Две нити. Трёхлетняя, к Кермареку, — и свежая, тянущаяся к старшине. Сначала распустилась первая. Она дрогнула,

ослабла, и вдруг стала тоньше, прозрачнее, и золотые волокна разошлись в воздухе, как дым. Потом новая. Эрван стоял, сжимая бусину, и не сводил с меня глаз, а я смотрела на его запястье, где больше ничего не было. Совсем ничего. Только кожа, грязная, исцарапанная, с голубой жилкой.

— Я вижу и помню. Долг исполнен.

Эрван разжал кулак и посмотрел на бусину, как будто не понимал, что это такое.

— Это всё? — спросил он.

— Всё, Эрван.

— Я свободен?

— Ты свободен.

Он стоял, не шевелясь. Потом медленно повернулся к Корантену, который уже убирал футляр с документами, и долго смотрел на него снизу вверх.

— Это вы, — в голосе Эрвана не было вопроса. — Ардуэн.

— Это я.

— Зачем вам это?

Корантен защёлкнул футляр.

— Твоей сестре нужно было, чтобы ты был свободен. Я сказал ей, что сделаю.

— Без янтаря? — у Эрвана дрогнул голос.

Корантен посмотрел на него, потом на меня. Впервые за весь этот день в его глазах появилось что-то живое — тёплое, усталое.

— Без янтаря, — подтвердил он. — Мне его не дают.

Гильдас ушёл первым, со своими людьми, ни с кем не попрощавшись. За ним разошлись торговцы, переговариваясь вполголоса. Писари вернулись к своим книгам. Через полсклянки здесь снова был обычный торговый зал, где взвешивают шерсть и спорят о ценах на угрей.

Мы стояли у выхода, на ступенях. Ронан держал Эрвана за плечо, будто боялся, что тот убежит. Гвенола стояла рядом с братом, и я видела, как у неё всё ещё дрожат руки.

— Куда его теперь? — спросила я. Мне было стыдно, что я не подумала об этом раньше. — В Янтарный двор нельзя. Домой... у нас нет дома.

— К нам, — Гвенола ответила раньше Корантена. — Ронан возьмёт его к себе. Будет учить вязать снасти. Верфей у нас теперь нет, а такелаж и на кухне плести можно.

— Он умеет держать молоток? — Ронан смотрел на Эрвана сверху вниз.

— Умею, — Эрван выпрямился. — И лопату. И ведро. И драться.

— Последнее не надо, — Ронан развернул его к спуску. — Пошли. По дороге расскажешь, кого бил и за что.

Они ушли вниз, к пристани, — однорукий старик и тощий мальчишка, который всё оглядывался на меня через плечо. Гвенола пошла за ними. На ступенях остались мы вдвоём.

— Ты отдал всё, — я смотрела на рынок, а не на него. — Все три стапеля. На год. За девятнадцать кругов, которые

были мне нужны.

— Двадцать пять, — Корантен поправил. — Шесть у меня осталось. На Ронана, на Гвенолу и на сидр.

— Корантен, ну зачем.

— Я знал, что он потребуует все три, — он говорил спокойно, будто речь шла о чём-то давно решённом. — Если бы я предложил три, он бы потребовал ещё и дом. Он всегда берёт больше, чем ему дают. Отец учил: торгуйся с Керма-реком так, чтобы он забрал то, что тебе и так не нужно.

— Тебе нужны верфи.

— Через год они вернутся, — он пожал плечами. — Если через тридцать дней я ещё буду жив. А если нет, то какая разница.

Я повернулась к нему. Он стоял на ступенях Весовой палаты, без футляра, без ключей, без верфей, в старой куртке, и смотрел на меня, и я вдруг поняла, что за всю эту склянку, пока Гильдас унижал его на глазах у половины рынка, он ни разу не пожалел о том, что сделал.

— Ты сказал, что вытащишь его, — я заговорила тихо. — Ты ни в чём не клялся. Тебя ничто не держало. Ты мог передумать. Ты мог сказать мне вчера на танце, что затея провалилась, и я бы поверила, потому что у тебя и правда ничего нет. А ты пришёл. И отдал всё.

— Я сказал, что вытащу.

— Я знаю. Я слышала, — у меня перехватило горло. — Я только не знала, что это значит. Когда ты говоришь.

Корантен долго смотрел на меня. Потом поднял руку и, очень осторожно, будто боялся, что я исчезну, коснулся пальцами мерного шнура на моём запястье — поверх перчатки, там, где он сам его когда-то завязал.

— Теперь знаешь.

И ушёл вниз по ступеням, к пристани, вслед за остальными, не оборачиваясь. А я осталась стоять у дверей Весовой палаты, посреди Рыбного рынка, и рыбаки кричали вокруг, и пахло сельдью и мокрым камнем, и мне казалось, что шнур на запястье жётся сквозь перчатку, как раскалённая нить.

Глава четырнадцатая.

Под стеклянной крышей

Моё наказание кончилось на тринадцатый день, вечером, когда мастер Матильда подошла к корыту, заглянула в него, хмыкнула и сказала, что я могу идти и больше не возвращаться, пока меня снова кто-нибудь не накажет.

— Хотя, — добавила она, уже отворачиваясь. — Вы мыли лучше половины моих девчонок. Если надумаете уйти из свидетельниц, приходите.

— Из свидетельниц не уходят, мастер.

— Все так говорят, — Матильда пожала плечами. — Эльвина тоже так говорила. А потом ушла и двадцать лет жила на левом берегу, заверяла для рыбаков за горсть мидий. И не жаловалась.

Я остановилась на пороге.

— Вы знали сестру Эльвину?

— Мы были послушницами вместе, — Матильда не обернулась. — Она видела нити, я — нет. Она была добрая. Слишком мягкая для белых перчаток. Однажды не стала за-
верять то, что ей велела старая мать-настоятельница, не нынешняя, а та, что до неё. Наставница Органс, — Матильда наконец посмотрела на меня. — Её не выгнали. Её просто перестали звать на заверения. Через год она ушла сама.

— Что она отказалась заверить?

— Не знаю. Она никогда не говорила, — Матильда снова отвернулась к своим столам. — Идите, Сальве. У меня полировка стынет.

* * *

Я не собиралась возвращаться в мастерскую в ту же ночь. Но после полуночи, когда колокол маяка пробил малую воду, я лежала на кровати и смотрела в потолок, и думала о деревянном ящике у стола Матильды, на крышке которого мелом было написано «новолуние».

Мать-настоятельница забрала у меня печать Иво Ардуэна семь дней назад. Сказала, что она отправится в мастерскую сегодня. Бенуаза отнесла её. Мадлон видела, как ящик закрыли на ключ. До очистки оставалось два дня.

А если её там нет?

Эта мысль пришла ко мне вдруг, посреди ночи, и не уходила. Если мать-настоятельница забрала печать из ящика раньше? Если очистить её решили не на новолуние, а тихо, отдельно, без помощниц и без котла? Если Мадлон в день очистки откроет ящик и не найдёт в нём двадцать третьей печати?

Я встала, оделась и взяла ключ от мастерской. Его выдают свидетельницам на время наказания, и вернуть я должна была утром. Ещё одна строка устава. Я уже перестала их считать.

* * *

Мастерская ночью выглядит иначе.

Днём под стеклянной крышей светло, шумно и пахнет жиром. Ночью там тихо и пусто, и свет идёт не сверху, а отовсюду сразу — серебряный, холодный, лунный. Луна в ту ночь стояла почти полная, за два дня до того, как начнёт убывать, и её свет падал сквозь стекло на длинные столы, на корыта, на ряды разложенных для просушки бусин. И бусины светились. Тускло, медово, каждая своим огоньком, как сотни маленьких глаз в темноте.

Я остановилась на пороге и долго стояла, глядя на это. Я провела в мастерской неделю. Я никогда не видела её такой.

Ящик стоял у стола Матильды, там же, где днём. Я подошла, присела перед ним на корточки. Замок был простой, медный, и ключ от мастерской к нему не подходил. Я это знала. Но крышка была чуть шире ящика, и, если приподнять её с угла, можно было заглянуть внутрь.

Я приподняла. В лунном свете внутри было темно. Я различала только войлочные гнёзда, ряды, ряды бусин в них, тусклых, неразличимых. Сорок семь печатей. Какая из них двадцать третья — я не знала.

— Не там смотришь.

Я чуть не уронила крышку.

Он стоял у дальней стены, там, где в полу мастерской темнела квадратная решётка стока, через которую днём сливают грязную воду из корыт. Мне и в голову не приходило, что это тот же водосток, через который он попадает в архив. На-

верное, потому что я никогда не задумывалась, куда уходит вода из корыт.

— Ты что здесь делаешь? — у меня получилось шёпотом.

— Шёл к тебе в архив. Увидел свет в мастерской, — Корантен подошёл, ступая тихо, по-кошачьи, между столами. — Свеча у тебя в руке. Её видно снизу через решётку.

Я посмотрела на свечу в своей руке. Я даже не заметила, что зажгла её.

— Я пришла проверить, здесь ли печать, — я опустила крышку ящика. — Твоего отца.

— И что?

— Не знаю. Ящик заперт. Я не вижу, какая где.

Корантен присел рядом со мной. Посмотрел на ящик, на замок, на крышку.

— Можно открыть.

— Нельзя, не надо.

— Можно. Это же не дамба, это просто медь, — он протянул руку к замку. — Я умею.

— Нет, — я поймала его за запястье. — Если Матильда утром увидит, что замок трогали, она поднимет всю мастерскую. А в день очистки ящик будут открывать при всех. Если печати там нет — Мадлон увидит. Если есть, она её достанет. Не надо ничего ломать.

Он посмотрел на мою руку на своём запястье. Я отпустила её.

— Ты права, — Корантен сел на пол, прислонившись спи-

ной к ножке стола. — Я опять полез чинить, где не просят. Отец говорил, что это у меня в крови.

Я села рядом. Тоже на пол, тоже спиной к столу. Над нами, на столешнице, сохли бусины, и в лунном свете их тени лежали на полу передо мной, круглые, крошечные, как зёрна.

* * *

Мы долго сидели молча. Свеча догорала у меня в руке, и я поставила её на пол, а потом задула, потому что луны было достаточно.

— Эрван у вас? — я спросила, чтобы что-нибудь сказать.

— У нас. Ронан уложил его спать на кухне, на лавке у очага. Перед этим заставил съесть три миски похлёбки и рассказать, как он сломал Жослену руку, — Корантен, кажется, улыбнулся в темноте. — Он хорошо дерётся, твой брат. Ронан говорит, у него правильный удар, от плеча.

— Он дрался из-за меня.

— Я знаю. Он мне рассказал, — Корантен помолчал. — Жослен заявил, что ты продалась Ардуэнам. Эрван ответил, что ты никому не продаёшься. И ударил.

— Он не знает, что я...

— Что ты что?

Я промолчала. Я не знала, как закончить эту фразу.

— Матильда сегодня сказала мне про Эльвину, — я сменила тему. — Ту свидетельницу, которая тебя... которая увидела. Она отказалась что-то заверить по приказу наставницы Ортанс. Её перестали звать, и она ушла.

— Отец рассказывал, — Корантен повернул голову ко мне. — Эльвина говорила ему. Перед смертью. Она отказалась заверить показание под янтарём. Против какого-то человека, которого потом вернули морю. Сказала, что бусина в руке у того, кто показывал, мутнела, а мать-настоятельница велела записать, что она чиста.

Я перестала дышать.

— Когда это было?

— Лет тридцать назад. Ещё до рождения отца... нет. Отцу тогда было лет двенадцать, — он помолчал. — Я никогда не думал, что это важно. Отец рассказывал это как историю про Эльвину. Про то, какая она была упрямая.

Тридцать лет назад. Наставница Ортанс. А самой Ортанс тогда было семнадцать. «Мне тоже было семнадцать, и я тоже однажды дала показание, после которого человек ушёл в море», — она сказала это в коляске по дороге на вечер обручённых, и я подумала, что она меня утешает.

— Анаик, ты что?

— Мне холодно, — и это была правда.

Корантен снял куртку и накинул мне на плечи. Она была тяжёлой, тёплой и пахла дёгтем.

— Ты не обязана думать об этом сейчас, — тихо проговорил он. — Через два дня Мадлон достанет печать. Ты посмотришь. Тогда и будешь думать.

— А если я посмотрю и ничего не увижу?

— Тогда ты пойдёшь к Маяку в день Прилива и скажешь

«не вижу», — от его спокойствия у меня сжалось сердце. — И я уйду за створ в ту же ночь. Гвенола приготовит лодку. Ты будешь чиста, город будет... не знаю, каким будет город. Но ты не застынешь, а это главное.

— Ты не уйдёшь.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что ты стоял у Камня, — я повернулась к нему. В лунном свете его лицо было бледным, почти серебряным, и шрам на скуле казался тонкой чёрной линией. — Тогда, после маяка. Ты мог уйти, и не ушёл. Ты стоял и смотрел на меня. Ты не уйдёшь и через тридцать дней. Ты будешь стоять у Камня, пока тебя к нему не привяжут.

Он долго молчал.

— Три года назад, — Корантен заговорил медленно, глядя не на меня, а на бусины на столе над нами. — Когда отца вели к кольцу. Я смотрел на тебя. Ты, наверное, помнишь.

— Помню, конечно.

— Я хотел запомнить твоё лицо, — он говорил очень тихо. — Чтобы ненавидеть. Чтобы, когда вырасту, найти тебя и сказать тебе всё, что думаю. Я смотрел, пока вода не поднялась ему до плеч. А потом заметил, что ты плачешь.

— Я не плакала.

— Плакала. Не открывая рта, не моргая. Слёзы просто текли, и ты их не вытирала. Ты стояла в своей рубаше ученицы и смотрела, как он тонет, и плакала, и ни разу не отвела глаз, — он помолчал. — Я тогда подумал, что так плачут,

когда чувствуют за собой вину. А вину чувствуют те, кто не уверен. И три года я думал о тебе изо дня в день и всё пытался решить, ненавижу я тебя или нет. Так и не решил.

Этого я не помнила. В памяти остались вода, кольцо, лицо Иво Ардуэна, которое не менялось. Его сына, который смотрел на меня. Я не помнила, что плакала. Но сейчас, когда он сказал, я вдруг почувствовала на щеках тот холод — резкий, ветреный, морской.

— А теперь? — спросила я.

— Что теперь?

— И как, решил?

Корантен повернулся ко мне.

Мы сидели совсем рядом, плечом к плечу, под столом, на котором сохли бусины, и его куртка лежала у меня на плечах, и лунный свет сквозь стеклянную крышу падал на нас обоих. Глаза у него были тёмно-серые, как вода в пасмурный день. Я видела, как он медленно поднимает руку и касается моей щеки, там, где три года назад текли слёзы, которых я не помнила. Его пальцы были тёплыми и шершавыми от верёвок.

Он наклонился ко мне. Совсем чуть-чуть. На ширину ладони.

А я отодвинулась.

Не сразу. Не резко. Просто — подалась назад, на ту же ширину ладони, так, что его пальцы соскользнули с моей щеки. Я сама не знала, почему сделала это, пока не услышала собственный голос:

— Я не могу тебя проверить.

Он замер.

— Я не могу тебя проверить, — повторила я шёпотом. —
Всё, что я знаю о людях, я знаю потому, что вижу их нити.
Девять лет. Я знаю, кто лжёт, кто боится, кто держит слово.
Гляжу на запястье — и знаю. А на тебя смотрю — и ничего.
Пустота. Ты можешь сказать мне что угодно, и я ни за что
не узнаю, правда ли это.

— Ты знаешь про Эрвана.

— Это было один раз.

— А стапель? А дамба? А сапог Гвенолы, за которым я
нырял дважды? — он не отодвинулся, но и не приблизился.
— Анаик, я не прошу тебя ни о чём. Я никогда не попрошу.
Я просто хочу, чтобы ты знала: если я скажу тебе что-нибудь
— что угодно, — это будет правдой. Не потому, что меня
что-то держит. Потому, что я так решил.

— Я не могу этого знать.

— Нет, — согласился он. — Не можешь.

Мы смотрели друг на друга. А потом он медленно убрал
руку и откинулся назад, к ножке стола, и между нами снова
стало пусто — на ладонь, а казалось, что на целое море.

— Я понимаю, — отозвался Корантен. И, помолчав, доба-
вил так тихо, что я едва расслышала: — Я бы на твоём месте
тоже не поверил.

* * *

Шаги мы слышали одновременно.

Они доносились не от водостока, а от двери, из коридора, — тихие, медленные, шаркающие. И с ними — свет. Жёлтый, неровный, свет лампы, которую несут в руке, и рука эта дрожит.

Корантен двигался быстрее меня. Он схватил меня за локоть и потянул под стол, дальше, в глубину, туда, где под столешницей стояли корзины с сырцом. Мы забились между ними, и он накрыл нас обоих краем полотняного покрывала, которым днём закрывают от пыли просохшие бусины. Сквозь ткань я видела, как свет заполняет мастерскую.

Дверь открылась.

Это была мать-настоятельница.

Она стояла на пороге в ночной рубаше и в двух шалях поверх неё, с лампой в руке, и свет плясал, потому что дрожала рука. Волосы у неё были распущены — белые, редкие, до плеч. Я никогда не видела её простоволосой. Без своего плаща, без перчаток, без кресла у очага она казалась маленькой и очень старой.

Она прошла через мастерскую, ступая осторожно, держась свободной рукой за край столов, и остановилась у ящика. Поставила лампу на пол. Достала из складок шали ключ — медный, маленький, — и, повозившись с замком, сгибая непослушные пальцы, открыла крышку.

Она долго перебирала печати. Я видела сквозь ткань, как её руки двигаются в войлочных гнёздах, медленно, одна за другой. Потом остановились. Она достала одну бусину и под-

несла её к лампе.

Свет падал ей на лицо снизу, и лицо это было таким, какого я у неё никогда не видела. Не строгим, не усталым, не ласковым. Пустым. Как будто кто-то вынул из неё всё и оставил только кожу.

Она смотрела на бусину долго. Потом закрыла глаза.

— Ещё два дня, — прошептала мать-настоятельница в пустоту, ни к кому не обращаясь. — Ещё два дня, Иво.

Она положила бусину обратно, в то же гнездо. Закрыла ящик. Долго, неловко запирала его, и ключ дважды выскальзывал у неё из пальцев и звякал об пол. Потом подняла лампу, выпрямилась, держась за стол, и пошла к выходу.

У двери она остановилась. Повернула голову, оглядела мастерскую — столы, корыта, бусины под луной. Взгляд её прошёл по столу, под которым мы прятались, и не задержался.

Дверь закрылась. Шаги затихли в коридоре.

Я поняла, что всё это время не дышала, только когда Корантен стянул с нас покрывало и холодный воздух мастерской ударил мне в лицо.

— Она знает, — я прошептала это, не в силах говорить громче. — Она знает, где лежит его печать. Она пришла её проверить. Ночью. Сама.

— И назвала его по имени, — Корантен сидел на полу рядом со мной, и лицо у него было совершенно белым. — «Ещё два дня, Иво». О печати осуждённого так не говорят.

Только о человеке.

Мы долго сидели под столом, среди корзин с сырцом, не шевелясь. Над нами, на столешнице, бусины светились в лунном свете — сотни, тысячи медовых огоньков.

— Тебе пора, — наконец решила я. — До рассвета две склянки. Тебе ещё идти через водосток.

Корантен поднялся. Помог встать мне. Его куртка всё ещё лежала у меня на плечах, и я начала её снимать, но он покачал головой.

— Оставь. Отдашь в день очистки.

— Как я её отдам, если ты будешь на левом берегу?

— Найдёшь способ, — он почти улыбнулся. — Ты всегда находишь.

Он ушёл к решётке водостока. Остановился, уже наклонившись над ней, и обернулся.

— Анаик, подожди.

— Что такое?

— То, что ты сказала. Про проверку, — его голос был ровным, но я слышала, чего ему это стоит. — Ты права. Ты не можешь меня проверить. Никто не может. Это не изменится, даже если мы оба доживём до ста лет.

— Я знаю.

— Я просто хотел сказать: это не значит, что ты не можешь решить.

Решётка скрипнула. Он исчез. Сквознякдохнул морем и затих.

Я стояла посреди мастерской, под стеклянной крышей, закутанная в чужую куртку, которая пахла дёгтем, и смотрела на деревянный ящик у стола Матильды. На крышке мелом было написано «новолуние». А внутри, в одном из сорока семи войлочных гнёзд, лежала бусина, которую мать-настоятельница только что сжимала так бережно, будто это было что-то живое.

В келью я вернулась перед рассветом. Повесила его куртку на крючок рядом со своим плащом и долго смотрела на них — на серую шерсть гильдии и на тёмную, просмолённую, протёртую на локтях. Потом открыла сундук.

Три печати лежали на своих местах. Половина Леонор, тёплое облачко вдовы Кервен и светлая бусина с трещинкой у отверстия. Я взяла её в ладонь без перчатки. Она была холодной, как всегда. Как в первый день, как на верфях, как в архиве. Ничто в ней не изменилось и не изменится никогда.

Я держала её, пока не заныли пальцы, и думала о том, что он сказал у решётки. Что я не могу его проверить. И что это не значит, что я не могу решить.

Глава пятнадцатая. Срез

Очистку начинают до рассвета, в новолуние, когда ночь темнее всего. Так написано в шестом свитке, и никто не помнит почему. Мадлон считала, что, наверное, чтобы не видеть, как гаснут нити. Бенуаза отвечала, что это глупости и что просто в темноте масло меньше пенится.

Меня на очистку не звали. Свидетельница на ней одна — Старшая, и в этот раз ею была Бенуаза. Я знала это ещё с вечера и всё равно проснулась задолго до первого колокола и лежала, глядя в темноту, слушая, как за стеной ворочается Мадлон.

Она встала раньше меня. Я слышала, как скрипнула её дверь, как она прошла по коридору, стараясь ступать тихо, и как остановилась у моей двери. Постояла. Потом пошла дальше, к лестнице.

Я не вышла к ней. Мы договорились накануне: никаких разговоров до вечера. Если кто-то увидит, что я жду её у мастерской, если кто-то заметит, как она передаёт мне что-то в коридоре, — всё пропало. Ей нужно было отработать очистку от начала до конца, вымыть котёл, получить у Матильды разрешение уйти и только потом, когда стемнеет, прийти ко мне, как приходит каждый вечер, с сыром или отваром.

Это значило ждать весь день.

* * *

Я заверяла в тот день три обета. Найм на Нижнем причале, раздел огорода в Среднем городе и ещё один, долговой, у скупщика янтаря на правом берегу, который всю церемонию смотрел на мои перчатки и, когда я уходила, спросил вполголоса, правда ли, что это я сказала «мутна» Хранителю Дамб у Маяка. Я ответила, что правда. Он долго молчал, а потом протянул мне медное зерно сверх платы. «На удачу», — сказал он. Я не взяла.

Я ходила, говорила, смотрела на нити и почти ничего не видела. Каждый раз, когда колокол маяка отбивал склянку, я считала: вот сейчас Матильда разводит огонь под котлом. Вот сейчас масло начинает дымить. Вот сейчас Мадлон с другой помощницей пересыпают печати из ящика в медное сито. Сорок семь печатей. Двадцать третья.

Вот сейчас — или уже нет.

К полудню я вернулась в Янтарный двор и поднялась на галерею восточного крыла, откуда видна стеклянная крыша мастерской. Над ней поднимался тонкий сизый дымок — от жаровен, от котла, от раскалённого масла. Пахло горелым жиром и чем-то сладким, тяжёлым. Я знала этот запах. Так пахнет янтарь, когда его варят.

Дымок поднимался до самой вечерней воды.

* * *

Мадлон пришла, когда уже стемнело. Без сыра, без отвара. Она вошла, закрыла за собой дверь и прислонилась к ней спиной, и я увидела, что руки у неё обожжены — красные

полосы на запястьях, там, где перчатки не прикрывали кожу.

— Ты обожглась.

— Масло брызнуло, — Мадлон даже не посмотрела на свои руки. — Ерунда. Матильда смазала гусиным жиром.

Она подошла к кровати, села рядом со мной и разжала кулак.

На её ладони лежала бусина. Медового цвета, размером с горошину, круглая, хорошо отполированная. Я узнала её сразу, хотя видела всего дважды.

Я не взяла её. Я смотрела на неё, лежащую на обожжённой ладони Мадлон, и не могла пошевелить рукой.

— Как тебе удалось? — у меня получилось шёпотом.

— Как договаривались, — Мадлон говорила ровно, но я слышала, как она устала. — Я сама пересыпала печати из ящика в сито. Матильда велела мне, потому что у меня руки ловкие. Я вчера ночью сходила в третий зал и выбрала там погасшую, того же цвета, похожую. Держала в рукаве. Когда пересыпала, двадцать третью взяла, а ту положила. Никто не видел. Матильда в этот момент ругалась с Ивонной из-за дров.

— А Бенуаза?

— Бенуаза стояла у котла и смотрела в масло. Ей положено следить, чтобы все нити погасли, она так и делала, — Мадлон помолчала. — А потом пришла матушка.

Я подняла голову.

— Сама пришла?

— Сама. В плаще поверх ночной рубахи, с палкой. Её Фаншон привела под руку, — Мадлон смотрела на бусину в своей ладони. — Она подошла к ситу, когда я уже собиралась опускать его в котёл. Остановила меня. Долго смотрела на печати. У меня чуть сердце не выскочило. Анаик, я думала, она сейчас протянет руку и вытащит ту, мою, подменную, и скажет: это что такое. А она постояла, посмотрела и сказала: «Хорошо. Опускай». И ушла.

— Ты уверена, что она не заметила?

— Я ни в чём не уверена, — Мадлон наконец подняла глаза. — Она смотрела на сито словно там лежит что-то, чего она очень долго ждала. Не печати. Что-то другое. А потом сказала «хорошо», и голос у неё был... я не знаю. Как будто она что-то отпустила.

Я наконец протянула руку и взяла бусину с её ладони. Она была тёплой — от руки Мадлон, от её тела, от целого дня в рукаве у горячего котла.

— Спасибо тебе.

— Не благодари, — Мадлон встала. — Я не хочу знать, что ты там увидишь. То есть хочу, но не сегодня. Сегодня я хочу лечь и проспать до следующего новолуния, — она пошла к двери и остановилась. — Анаик. Если там что-то есть... ты ведь скажешь мне?

— Скажу, конечно.

— Всё скажешь? И про шнур, и про Ардуэна, и про всё остальное?

Я посмотрела на неё — на её круглое лицо, на обветренные губы, на красные полосы на запястьях.

— Всё. Обещаю.

— Без янтаря, — Мадлон слабо улыбнулась. — Я знаю. Ты теперь всё обещаешь без янтаря.

Она ушла. Я осталась одна с печатью Иво Ардуэна в ладони.

* * *

Я ждала рассвета.

Ночью, при свече, разглядеть ничего нельзя: огонь даёт свой жёлтый цвет, и в нём всё тонет. Нужен дневной свет, ровный, белый, без теней, или закатный — косой, красный, который ложится вдоль поверхности и вытаскивает наружу каждую неровность. Я видела что-то на закате, восемь дней назад. Значит, нужен рассвет или закат.

Рассвет в моём окне на заливе бывает поздно: восточное крыло смотрит на юго-запад, и солнце приходит туда только к полудню. А закат — ровно напротив, над маяком.

Я ждала заката.

Весь следующий день я провела, как в тумане. Утром — два заверения. Днём — сестра Бенуаза, которая поймала меня на лестнице и спросила, почему я вчера весь вечер не выходила из кельи; я сказала, что болела голова, и она посмотрела на меня так долго, что я почти поверила, что она знает. Потом — галерея, ветер, серая вода залива. Печать лежала в кармане, завернутая в льняной платок, и я касалась её через

ткань, как когда-то бусин для обручения.

Солнце пошло к маяку, когда колокол пробил вечернюю воду.

Я поставила на подоконник маленький пюпитр. Положила на него бусину. Села напротив и стала ждать, когда свет коснётся воды.

Он коснулся. Красный, тяжёлый, низкий, он лёг через весь залив, от маяка до самого моего окна, и печать на пюпитре вспыхнула, как уголь, раздутый ветром.

Я наклонилась ближе.

Жилка была там же, где и восемь дней назад. Живая половина — от края Гильдаса, ровная, тусклая, светящаяся. Лохматый конец на середине: волокна торчат в разные стороны, как у порванной верёвки. Пустота шириной с детский ноготь. А дальше — тёмный отрезок Иво, мёртвый, почти чёрный.

Я смотрела на его конец. На тот, что обращён к пустоте.

Он не был лохматым.

Я поняла это не сразу. Сначала мне показалось, что я просто не различаю волокон, что тёмную нить трудно разглядеть, что глаза устали. Я моргнула. Наклонилась ещё ближе, так, что почти касалась бусины носом. Солнце садилось быстро, свет становился всё краснее, всё ниже, всё острее.

Конец тёмного отрезка был ровным. Гладким. Таким, каким бывает край, если его не порвали, а срезали — одним движением, острым, вплотную. Как край вырезанной стра-

ницы в книге поступлений. Как распил на дубовой свае.

А рядом с ним, у самого среза, едва заметная, бледная, как дыхание на холодном стекле, тянулась ещё одна жилка.

Третья.

Короткая, на волос длиннее самого среза. Не золотая и не тёмная — никакая, прозрачная, будто сделанная из света. Она касалась конца нити Иво и обрывалась. Как будто кто-то протянул к нити свою, чужую, коснулся ею — и разрезал. И отдёргнул. А след остался, как остаётся след пальца на запотевшем стекле, когда сам палец уже убрали.

Солнце ушло за маяк.

Свет погас разом, как всегда гаснет осенью. Печать на пюпитре стала просто бусиной. Я сидела перед ней и не могла пошевелиться.

* * *

Нас учили на третьем году: перерезать нить невозможно. Восьмой свиток, первая строка. Нить обета — это сама клятва, ставшая видимой; её нельзя ни разрезать, ни развязать, ни подделать, кроме как исполнив, нарушив или распустив по согласию сторон. Никто не может вмешаться в обет со стороны. Ни свидетельница, ни Совет, ни море. Поэтому обетам и верят.

Этот урок вела Бенуаза. Я помню, как Мадлон подняла руку и спросила: «А если очень захотеть?» И все засмеялись, и Бенуаза тоже, и сказала, что даже Аэлиз не могла.

Даже Аэлиз не могла.

Я смотрела на печать в темноте и видела срез. Ровный, гладкий. И бледный след рядом с ним.

Три года назад я стояла в зале суда на табурете — теперь я его помнила, вспомнила, когда Корантен заговорил о нём, — и смотрела на эту бусину, и мать-настоятельница стояла рядом со мной. Я видела лохматый конец жилки Гильдаса, тёмный отрезок Иво и пустоту между ними. И я сказала «разрыв полный», потому что так оно и было: концы действительно не сходились, и никто никогда не учил меня смотреть, как выглядит конец нити у того, чей отрезок мёртв. Мёртвые отрезки не разглядывают. Их просто называют.

Мне было четырнадцать. Мать-настоятельница стояла рядом. Она смотрела на ту же бусину. Она видела то же, что и я. Или больше.

Я заверяла обет найма сестёр-сироток на Рыбном спуске, брачный обет дочери пекаря, долг Пейра Гоазиу и аренду Гвенолы. Я девять лет училась различать нити, и я была лучшей на своём году, все так говорили. И три года назад я, лучшая, отправила на дно невинного человека, потому что не посмотрела на конец мёртвой нити.

Потому что никто не сказал мне, что нить можно разрезать.

Потому что та, кто знала, промолчала.

* * *

Я не помню, как дошла до парома. Помню только, что было темно, что паромщик долго не хотел меня везти, потому

что после вечерней воды он не ходит, а потом посмотрел на моё лицо и молча отвязал конец. Помню, как вода плескалась о борт. Помню свет в окнах особняка Ардуэнов — одним, на кухне.

Мне открыл Эрван. Он стоял в дверях в чужой, слишком большой рубахе, с куском верёвки в руках, — Ронан, видно, учил его вязать узлы, — и смотрел на меня с таким испугом, что я поняла, как выгляжу.

— Ана? Что случилось?

— Где он?

— В конторе. Ана, ты вся белая...

Я прошла мимо него. Через пустой холл, по коридору, мимо кухни, где сидел Ронан и где Гвенولا, увидев меня, вскочила с лавки. К двери конторы. Она была приоткрыта, и за ней горела свеча.

Корантен сидел за столом над отцовскими картами. Он поднял голову, когда я вошла, и, увидев меня, встал так резко, что опрокинул чернильницу. Чёрная лужица растеклась по карте, по водостокам под городом, по крестик у Гуэрнского мыса.

Он не стал её вытирать.

— Анаик, что...

Я подошла к столу и положила на него бусину. Прямо рядом с чернильной лужей, на край карты.

— Это печать твоего отца, — мой голос звучал так ровно, что я сама его не узнавала. — Мадлон достала её вчера. Я

смотрела на неё сегодня на закате.

Он смотрел не на бусину. На меня.

— Нить не порвана, — я впервые произнесла это вслух.

— Её перерезали.

Тишина. Где-то за стеной, на кухне, звякнула посуда, и стало ещё тише.

— На конце его отрезка нет волокон, — я продолжала, потому что если бы остановилась, то уже не смогла бы начать снова. — Он гладкий. Ровный. Как распилен на свае. И рядом есть след. Третья жилка. Чужая. Короткая. Кто-то коснулся его нити своей и разрезал её. Устав говорит, что это невозможно. Но это было.

Корантен медленно опустил глаза на бусину. Он не брал её в руки. Он смотрел на неё сверху, рядом с чернилами, и я видела, как у него дрожат пальцы, опершиеся о столешницу.

— Значит, он не нарушал, — он прошептал это так тихо, что я едва расслышала.

— Нет. Не нарушал.

— Он починил дамбу в срок. Он исполнил обет. А кто-то перерезал его нить, чтобы все решили, что он нарушил. И подпилил сваи, чтобы дамба упала, и все решили, что он починил плохо.

— Да. Всё так.

— И его утопили.

— Да.

— А ты сказала «разрыв полный».

— Да. Я сказала.

Он поднял на меня глаза.

Я видела в них всё сразу. Облегчение — такое огромное, что от него, наверное, болело. Горе — старое, трёхлетнее, которое вдруг снова стало свежим. Ярость. И что-то ещё, чего я не могла назвать и не хотела, потому что это было направлено на меня.

— Трижды, — его голос упал до шёпота. — Ты сказала это трижды. Под янтарём. На табурете. Я стоял в зале и слушал. Ты сказала «разрыв полный», и Совет кивнул, и Кермарек улыбнулся, а отец посмотрел на меня, и я понял, что всё.

— Я знаю.

— Ты не могла не знать. Ты лучшая. Все говорили: ученица Сальве, первая на году, она видит нити, как никто. Ты видела. Ты должна была увидеть.

— Я не знала, что нить можно разрезать.

— Ты не знала, — Корантен засмеялся — коротко, страшно, без всякой радости. — Ты не знала, а он утонул. Ты не знала, а я три года смотрел на синюю дверь вдовы Кервен. Ты не знала, а Гвенола три года спрашивает меня, почему отец нас бросил.

— Корантен...

— Уходи, Анаик.

Я замолчала.

— Пожалуйста, — он отвернулся к окну, к тёмному стеклу, в котором отражалась свеча. — Уходи. Я не могу сейчас

на тебя смотреть.

Я стояла у стола. Бусина лежала на карте, рядом с чернильной лужей, которая уже подбиралась к ней по бумаге.

Я могла сказать ему, что мне было четырнадцать. Что рядом стояла мать-настоятельница, которая видела то же, что и я, и, может быть, больше. Что я сама пришла сюда, через залив, ночью, чтобы сказать ему это, хотя могла промолчать. Что я не сплю в ночи, когда штормит, — уже три года.

Я промолчала. Всё это было правдой, и ничто из этого не меняло главного.

Я протянула руку и отодвинула бусину от края чернильной лужи. Чтобы не испачкалась.

Потом повернулась и вышла.

* * *

Гвенола догнала меня у пристани. Я не слышала её шагов и вздрогнула, когда она взяла меня за локоть.

— Паромщик ушёл. Я отвезу.

Мы плыли через залив в темноте. Гвенола гребла молча, сильно, ровно, и я сидела на носу, обхватив колени, и смотрела на воду, где не было видно ничего — ни огней, ни отражений, ни маяка, потому что ночь была безлунная.

Только у самой пристани под Отмельной лестницей, когда лодка ткнулась в сваю, Гвенола сказала, не глядя на меня:

— Он не со зла.

— Я знаю.

— Он три года ждал, что кто-нибудь скажет ему, что отец

не виноват, — она придерживала лодку веслом. — Он думал, что, когда это случится, ему станет легче. А стало хуже. Потому что сказала ты.

Я выбралась на причал. Ноги не слушались, и я чуть не упала, но удержалась за сваю.

— Гвенола, подожди.

— Что ещё?

— Ваш отец, — я смотрела на неё сверху вниз. — Он вас не бросал. Его забрали.

Она долго молчала, и я не видела в темноте её лица.

— Я знаю, — Гвенола оттолкнулась веслом. — Теперь знаю.

Лодка ушла в темноту. Я стояла на пристани и слушала, как удаляется плеск вёсел, пока он не стих совсем.

Глава шестнадцатая. Признание

Я рассказала Мадлон всё на следующее утро, на крыше Янтарного двора, у водосборных желобов, где никто никогда не бывает, потому что там нечего делать и дует так, что слезятся глаза.

Я обещала ей. Без бусины, но слово есть слово, и после вчерашней ночи мне вдруг стало очень важно держать то, что держится только на мне.

Я рассказала ей про холодную бусину на круге Аэлиз и про то, что значит «мутна». Про немоту. Про Корантена в архиве, про стапель, про договор без залога. Про Гуэрн и про волочную пилу, про вдову Кервен, про срезанную страницу. Про мать-настоятельницу ночью в мастерской. Про срез на печати Иво и про третью, бледную жилку рядом с ним. Про то, что сказал мне Корантен вчера.

Мадлон слушала, не перебивая. Она сидела на краю желоба, обхватив колени, и смотрела на залив, где под утренним солнцем блестела вода, и лицо у неё становилось всё неподвижнее.

Когда я закончила, она долго молчала.

— Немой, — наконец выговорила она. — Ты прячешь немого. С самого первого дня.

— Да.

— И ты... — Мадлон повернулась ко мне. — Анаик, ты

в него влюблена?

Я открыла рот, чтобы сказать «нет», и не смогла.

— Не знаю, — я ответила честно. — Я не знаю, что это. Я не умею это проверить.

— Это не проверяют, дура, — Мадлон вдруг засмеялась, и в этом смехе было что-то похожее на всхлип. — Это не нить. Это либо есть, либо нет, — она вытерла глаза рукавом. — Девять лет я жду, когда ты хоть раз сделаешь что-нибудь не по уставу. Девять лет. И ты взяла для этого самое страшное, что только есть на свете.

— Прости меня.

— Не извиняйся, — Мадлон поднялась и отряхнула юбку. — Я спрашивала, что ты скрываешь. Ты сказала. Теперь моя очередь думать, — она посмотрела на меня сверху вниз. — Что ты собираешься делать?

— Пойти к матушке.

Мадлон замерла.

— Зачем?

— Сказать ей, что я ошиблась на суде. Что нить Иво Ардуэна была не порвана, а перерезана. Что его казнили невиновным, а я дала показание, которое его погубило. — Я тоже встала. — По уставу свидетельница, которая узнала, что её показание было ложным, обязана заявить об этом гильдии. Даже если она не знала, что лжёт. Даже если прошло три года.

— И ты ей покажешь печать?

— Нет, — я покачала головой. — Печати официально больше нет. Её очистили. Если я её покажу, всплывёт, что ты её подменила.

— А если не покажешь, тебе не поверят.

— Может быть. — Я подняла на неё глаза. — Но я хочу увидеть, что она скажет. Когда я скажу ей, что нить перерезали.

Мадлон долго молчала. Ветер трепал её волосы, выбившиеся из-под чепца.

— Ты думаешь, это она, — голос у Мадлон стал совсем тихим. Это был не вопрос.

— Я не знаю.

— Знаешь, — Мадлон взяла меня за руку, крепко, как тогда, перед маяком. — Ты бы не полезла на крышу рассказывать мне всё это, если бы не знала. Ты просто не хочешь знать. Это разные вещи, ты сама мне так говорила, когда я была послушницей.

Я промолчала. Она была права.

* * *

Мать-настоятельница приняла меня в рабочей комнате, после полудня. Она сидела у очага, как всегда, укутанная в плед, и на коленях у неё лежали таблички. Огонь трещал. На каминной полке стояли три старые печати в серебряных оправках.

— Садись, — она указала на табурет. — Ты хотела говорить со мной.

Я села. Руки я держала на коленях, в перчатках, и смотрела ей в лицо.

— Я ошиблась на суде над Иво Ардуэном.

Слова вышли ровными. Я долго их готовила.

Ортанс не изменилась в лице. Совсем. Только пальцы, лежавшие на табличках, чуть сжались — медленно, с усилием, как сжимались всегда.

— Объясни мне.

— Нить Иво Ардуэна не была порвана. Её перерезали. На конце его отрезка нет волокон, он гладкий, как срез. И рядом есть след — бледный, короткий, третья жилка. Кто-то коснулся его нити своей и разрезал её. Я не увидела этого тогда, потому что не знала, на что смотреть. Я сказала «разрыв полный». Я дала ложное показание, матушка, и по нему казнили невинного.

В комнате стало очень тихо. Только огонь трещал, и где-то в коридоре сестра-привратница ругала послушницу за мокрые следы на полу.

— Где ты это видела? — Ортанс спросила это ровно.

— На печати.

— Печать Иво Ардуэна очистили два дня назад, в новолуние. Я сама была на очистке.

— Я смотрела на неё до того. Две недели назад, когда брала из архива. На закате.

Это была не ложь. Я действительно смотрела на неё тогда, две недели назад. И различила — тогда только начало,

ть, но различила. Я сама удивилась, как легко у меня это получилось: сказать правду так, чтобы она прикрыла другую, опасную.

Ортанс смотрела на меня долго.

— На закате, — повторила она. — Две недели назад ты сказала мне, что хотела убедиться, что не ошиблась. Ты ничего не сказала про срез.

— Тогда я не была уверена.

— А теперь уверена? Через две недели, когда печати больше нет?

— Да, уверена.

Она отложила таблички. Медленно, по одной, на столик у кресла. Потом сложила руки на коленях.

— Анаик, — Ортанс произнесла моё имя тихо, почти ласково. — Восьмой свиток, первая строка. Перерезать нить невозможно. Это знает каждая ученица. Это основа всего, на чём держатся гильдия и город. Каждый долг, каждый брак, каждая присяга держатся на том, что нить нельзя ни разрезать, ни подделать.

— Я знаю, что написано в восьмом свитке.

— Тогда ты знаешь, что ты сейчас сказала, — её голос оставался ровным, но в нём появилось что-то новое. Что-то твёрдое, как лёд под снегом. — Ты сказала, что кто-то сделал невозможное. Кто?

— Я не знаю.

— Свидетельница? Ведь только свидетельница может ви-

деть нить. Только свидетельница может коснуться её своей, — Ортанс наклонилась вперёд. — Ты хочешь сказать, что одна из нас перерезала нить осуждённого, чтобы его казнили?

Я молчала. Я смотрела ей в лицо и молчала.

— Хорошо, — мать-настоятельница откинулась назад. — Допустим. Допустим, ты права. Допустим, ты пойдёшь к Совету и скажешь всё это. Что тогда?

— Тогда дело Иво Ардуэна пересмотрят.

— Без печати? По слову свидетельницы первой ступени, которая три года назад сказала одно, а теперь говорит другое? — Ортанс покачала головой. — Нет, девочка. Тогда случится вот что. Совет услышит, что гильдия не знает, может ли нить быть разрезана. Через склянку об этом узнает весь Рыбный рынок. К вечеру — весь город. Каждый должник спросит себя, а не перережут ли его долг. Каждый заимодавец — не перережут ли его залог. Каждый муж — не перережут ли его брак. Торговля встанет. Наймы рассыплются. Дамбы некому будет чинить, потому что никто не возьмёт подряд без бусины, а бусинам больше не верят.

Она говорила тихо, без нажима, глядя мне прямо в глаза.

— А через двадцать четыре дня — Прилив Долга, Анаик. Ты помнишь, что написано на маяке? Если брак двух берегов не ляжет, море придёт за долгом. Ты хочешь, чтобы оно пришло в город, где никто никому не верит? Где нет ни одной целой нити? Ты понимаешь, что тогда будет?

— Я понимаю, матушка.

— Нет, — Ортанс закрыла глаза. — Ты опять не понимаешь. Ты думаешь о мёртвом. Об одном мёртвом, которого ты, может быть, отправила в море по ошибке. А я думаю о живых. О тридцати тысячах живых, которые спят сейчас в Кер-Ис-Море и верят, что их обеты держат.

Огонь в очаге осел, и искры взлетели в трубу.

— Если ты пойдёшь к Совету, — мать-настоятельница не открывала глаз. — Ты не спасёшь Иво Ардуэна. Он мёртв. Ты не спасёшь его имени: без печати твоё слово ничего не стоит. Ты только расколешь гильдию накануне Прилива. Ты дашь Гильдасу Кермареку то, чего он ждёт двадцать лет, — повод сказать, что свидетельницы не знают своего ремесла. И тогда гильдии конец. А без гильдии нет обетов. А без обетов нет города.

Я сидела на табурете и чувствовала, как у меня холодеют руки.

Она была права. Каждое слово, которое она говорила, было правдой. Я видела это так же ясно, как нити. И всё-таки...

— Почему вы были в мастерской ночью? — я спросила это прежде, чем успела остановиться. — Перед очисткой.

Ортанс открыла глаза.

Всего на миг в её лице было что-то, чего я никогда раньше не видела. Не страх, не гнев. Удивление. Как у человека, который думал, что идёт по твёрдой земле, и вдруг почувствовал под ногой воду.

Потом оно исчезло.

— Я проверяла, все ли печати на месте, — Ортанс не повысила голоса. — После того как ты брала одну из них из архива, мне показалось разумным убедиться, что она вернулась. Ты ведь тоже была там, правда?

Я промолчала.

— Я тебя не видела, — Ортанс снова взяла со столика таблички. — Но я знаю, как пахнет мастерская, когда в ней кто-то прячется. Пятьдесят лет в этих стенах, девочка, — она положила таблички на колени. — Иди. Подумай над тем, что я сказала. Через двадцать пять дней ты встанешь на круг Аэлиз. До этого ты не скажешь ни Совету, ни Кермареку, ни Ардуэнам ни слова о срезях и бледных жилках. Это не просьба, Анаик. Это приказ матери-настоятельницы.

— Да, матушка.

— И ещё одно, — она не подняла глаз от табличек. — Сапоги, которые ты оставляла у двери после Гуэрна, пахли ардуэнской смолой. Куртка, которая висит у тебя на крючке, тоже не твоя. Ты думаешь, я слепая? Мне холодно, а не темно в глазах.

Я встала. Ноги у меня были ватными.

— Иди, — повторила Ортанс. — И береги себя. Ты мне дорога. Всегда была. Больше, чем ты думаешь.

* * *

Я вышла в коридор и долго стояла, прислонившись к стене, у окна, выходящего на внутренний двор.

Она ничего не отрицала. Ни ночи в мастерской, ни сапог, ни куртки. Она не возразила, что я ошиблась насчёт среза, — она объяснила, почему об этом нельзя говорить вслух. Она не заявила, что нить невозможно перерезать. Только напомнила, что так написано в восьмом свитке.

Это разные вещи.

Внизу, во дворе, Мадлон несла через двор корзину с сырцом из мастерской. Она подняла голову, увидела меня в окне и остановилась. Я покачала головой. Она поставила корзину на землю и долго смотрела на меня снизу вверх, а потом подняла руку и коснулась запястья — там, где у свидетельниц под перчаткой бьётся жила и куда ложится нить посвящения.

Это был наш знак ещё с послушничества. «Я с тобой».

Я ответила ей тем же.

* * *

Вечером я заверяла обеты на Рыбном рынке.

Это была обычная работа второй половины дня, та, которую сёстры первой ступени делят между собой по очереди: мелкие сделки, поручительства, наймы. Я сидела за столом под навесом у весовой будки, передо мной стояла шкатулка с сырцом, и ко мне подходили люди.

Торговка мидиями брала в долг у соседки полкруга до конца путины. Два брата-лодочника делили отцовскую сеть. Девчонка лет четырнадцати нанималась служанкой в дом на Холме, и её мать стояла рядом, держа дочь за локоть, и всё время спрашивала, не больно ли это.

— Не больно, — я положила бусину девочке на ладонь.
— Тепло. Как от печки.

Бусина нагрелась. Запахло сосновой смолой. Золотая нить протянулась от запястья девочки к запястью экономки, тонкая, ровная, и легла под кожу. Девочка смотрела на неё круглыми глазами.

— Красиво, — выдохнула она.

— Год службы, — я записала срок в книгу. — Через год нить сойдёт сама. Если до того тебя будут обижать, приходи в Янтарный двор и спроси сестру Сальве.

Мать девочки поклонилась мне так низко, будто я была настоятельницей.

Я смотрела им вслед и думала о том, что сказала мне Ортанс. Тридцать тысяч живых. Эта девочка — одна из них. Торговка мидиями — одна из них. Каждая нить, которую я сегодня заверила, держится на том, что люди верят: её нельзя разрезать.

А её можно. Я знаю, что можно.

Если я скажу это вслух, девочка с Холма, может быть, через год не получит своего жалованья. Если я промолчу — значит, Иво Ардуэн утонул ни за что, а тот, кто перерезал его нить, сидит у очага в пледе и думает о живых.

Я закрыла шкатулку. Пальцы в перчатках не слушались.

У весовой будки, через площадь, стоял высокий человек в тёмной куртке, и на мгновение сердце у меня ушло куда-то вниз. Потом он повернулся, и я увидела рыжую бороду и чу-

жое лицо. Просто лодочник. Не он.

Я не видела Корантена с той ночи. Я не знала, увижу ли.

* * *

Мадлон пришла ко мне в келью после повечерия, когда в коридорах уже погасили свечи. Она села на край моей кровати, как сидела, когда мы были послушницами и шептались до утра, пока сестра-привратница не стучала в стену.

— Ну? — в темноте её голоса почти не было слышно.

Я рассказала ей про разговор с Ортанс. Всё, слово в слово, насколько смогла запомнить. Про тридцать тысяч живых. Про ночь в мастерской. Про сапоги.

— Она знает, что кто-то был в мастерской, — Мадлон помолчала. — Но не знает, кто.

— Она думает, что я.

— Это ты ей позволила так думать, — Мадлон повернулась ко мне. — А печать подменила я.

— Она не знает про подмену.

— Пока не знает, — Мадлон обхватила себя руками. — Анаик, если очищенная печать Иво — не та, она это поймёт. Рано или поздно. Ей достаточно взять ту, что на полке, и посмотреть на круг. Там будет нить какого-нибудь лодочника, умершего двадцать лет назад, а не Иво.

— Ты положила погасшую печать из третьего зала.

— Положила. Но она же не слепая, ты сама говоришь.

Мы помолчали. Где-то на крыше, над желобами, ходил ветер, и черепица чуть поскрипывала.

— Где она сейчас? — я спросила это совсем тихо. — Настоящая.

— Там, где мы договорились, — Мадлон не назвала места, и я была ей за это благодарна. — Никто не найдёт.

— Мадлон...

— Не надо, — она нашла в темноте мою руку. — Я сама полезла. Ты меня не просила. Помнишь, что ты мне говорила, когда меня посвящали? «Свидетельница видит то, что есть, а не то, что удобно». Я тогда думала, это просто из устава.

— Это и есть из устава.

— Значит, хоть что-то в нём правильно, — Мадлон тихонько фыркнула. — Завтра у меня заверение у вдовы Кервен. Продление поручительства за её младшего. Обычное дело. Я посмотрю на её нити повнимательнее. Вдруг там тоже что-нибудь срезано.

— Будь осторожна.

— Я всегда осторожна. Это ты у нас прыгаешь с маяков.

Она ушла, когда колокол пробил полночь. Я лежала и смотрела в потолок и думала о том, что Мадлон права: Ортанс не слепая. И что если мать-настоятельница решит, что печать унесла не я, — она будет искать того, кому я могла её отдать.

А у меня в Янтарном дворе был только один такой человек.

* * *

Гильдас

Сестра Бенуаза пришла после вечерней воды через садовую калитку и, как всегда, отказалась от кресла.

Гильдас Кермарек не настаивал. Он сидел за своим столом у окна, перед весами, и рассматривал в лупу новый кусок янтаря, который утром принёс скупщик с Гуэрнской отмели: в нём застыла мелкая рыбка, целиком, с плавниками, с открытым ртом. Такие попадались раз в десять лет. За море этот кусок уйдёт за сорок кругов.

— Ну? — он не отрывался от лупы.

— Свидетельница Сальве была сегодня у матушки, — Бенуаза стояла у двери, сложив руки в рукавах. — Долго. Вышла бледная.

— О чём говорили?

— Не знаю. Матушка не рассказывает мне всего.

— А чего она не рассказывает?

Бенуаза помолчала.

— Матушка велела мне исполнять ваши поручения, мастер Кермарек, пока они не вредят гильдии, — она произнесла это ровно, будто читала из устава. — Я исполняю. Я заверила обет мальчишки. Я рассказываю вам, куда ходит Сальве. Но то, что матушка говорит своим свидетельницам за закрытыми дверями, — это гильдия. Этого я вам не скажу.

Гильдас отложил лупу и посмотрел на неё. Сестра Бенуаза. Пятьдесят три года, из них сорок в гильдии, седая до самых бровей, с лицом, похожим на закрытую дверь. Она при-

ходила к нему уже три года, с того самого суда, и ни разу не взяла ни зерна сверх платы за выезд. Он так и не понял, что ей нужно. Это его раздражало.

— Ваша Сальве покрывает Ардуэна, — Гильдас произнёс это без всякого выражения. — Вы это знаете. Я это знаю. Она ездит к нему на левый берег, она танцует с ним так, что у меня челюсть сводит, она стояла в Весовой палате и цитировала устав, чтобы он мог не брать янтарь в руки. Мальчишка что-то скрывает. А она ему помогает.

— Возможно, мастер Кермарек.

— Что у него с нитью, сестра?

— Свидетельница Сальве сказала: мутна.

— А вы что думаете?

Бенуаза долго молчала. Потом подняла на него глаза — серые, холодные.

— Я думаю, мастер Кермарек, что мутных нитей на круге Аэлиз не было за пятьдесят лет. И что за тринадцатую строку второго свитка прячутся только те, кому есть что прятать, — она помолчала. — Но это мои мысли. Не гильдии.

Гильдас откинулся в кресле.

Он не верил в море. Никогда не верил — ни в детстве, когда бабка рассказывала ему про утонувший Мор-Ис и про долг, который нужно платить каждые сорок девять лет, ни потом, когда отец впервые взял его с собой на прошлый Прилив и он стоял у маяка, восьмилетний, и смотрел, как сочетаются браком дочь Ардуэна и сын Кермарека, его собствен-

ный дядя. Вода тогда поднялась, как поднималась всякую осень, и ушла, как уходила всегда. Ничего не случилось. Он запомнил только, что было холодно и что дядя за всю церемонию ни разу не посмотрел на невесту.

Море ничего не берёт, — так он думал. Берут люди. Море — это только повод, а поводом можно пользоваться.

— Совет соберётся через пять дней, — Гильдас взял со стола перо и повертел в пальцах. — Я предложу проверить нить раньше. Не в день Прилива, а за неделю. Чтобы, если нить окажется пустой, было время найти другого жениха.

— Устав этого не предусматривает.

— Устав не предусматривает и мутных нитей на круге Аэлиз, — он улыбнулся. — А Совет предусматривает всё, что нужно городу. Ваша матушка будет против?

Бенуаза ответила не сразу.

— Мать-настоятельница будет против, — Бенуаза наконец разомкнула губы. — Но матушка больна. А Совет решает большинством.

Она поклонилась — ровно настолько, насколько полагалось, — и вышла через садовую калитку, в темноту.

Гильдас посидел ещё немного, глядя на дверь. Потом снова взял лупу и поднёс к свету кусок янтаря с рыбкой внутри. Рыбка смотрела на него открытым ртом, с застывшими плавниками, — будто удивлялась, как это её поймали, она ведь только плыла.

Он долго разглядывал её. Сорок кругов. Может быть,

пятьдесят.

Иво Ардуэн тоже только плыл.

Глава семнадцатая. Жёлтые ногти

Утро восемнадцатого дня я провела в архиве, за описью.

Это было наказание, хотя никто его так не называл. Сестра Арзель, хранительница книг, получила от матушки распоряжение: свидетельнице Сальве до Прилива поручается сверка поступлений за последние десять лет, «поскольку она проявила к этим книгам такой интерес». Арзель передала его дословно и посмотрела на меня поверх очков с чем-то похожим на сочувствие.

Я сидела за длинным столом под окном, перелистывала пожелтевшие страницы и переписывала в новую книгу одно и то же: число, вес, откуда, кем принесено, кому передано. Сырец с Гуэрнской отмели. Сырец с Красных камней. Сырец, выкупленный у сборщиков с островов. Пальцы в перчатках пачкались чернилами, глаза слезились от пыли, и каждые полсклянки я ловила себя на том, что смотрю в окно, на залив, на левый берег, где над верфями поднимался дымок.

Я не видела Корантена два дня. Я не знала, увижу ли когда-нибудь ещё.

Около десяти утра в коридоре кто-то побежал. В Янтарном дворе не бегают — это первое, чему учат послушниц, прежде молитв и нитей. Арзель подняла голову от своей конторки и нахмурилась. Шаги стихли у самой двери архива. Потом дверь приоткрылась.

На пороге стояла Мадлон. В уличном плаще, с сумкой для шкатулки через плечо, раскрасневшаяся, как будто бежала от самого Нижнего города.

— Сестра Сальве, — она произнесла моё имя очень ровно. — Можно тебя на минуту? По поводу заверения у Кервен. Там вопрос по книге.

Арзель махнула рукой: иди.

Я вышла. Мадлон закрыла за мной дверь, взяла меня за локоть и, не говоря ни слова, повела по коридору, к лестнице, вверх, на третий этаж, где кельи. Пальцы у неё были ледяные, я чувствовала это даже сквозь два слоя перчаток.

В моей келье она отпустила меня, прислонилась спиной к двери и только тогда выдохнула.

— Посмотри, — она стянула с левой руки перчатку. — Скажи мне, что это охра. Скажи, как ты сказала тогда той девчонке с верфей. Пожалуйста.

Она протянула мне руку ладонью вниз.

Ногти на мизинце и безымянном пальце были жёлтыми. Не сверху, не по краю, не смазанно. Изнутри. Жёлтый свет лежал под ногтевой пластиной, ровный, медовый, как лежит в бусине, когда смотришь сквозь неё на солнце. На среднем пальце, у самой лунки, проступало такое же пятнышко, маленькое, с просяное зерно.

Я взяла её руку и поднесла к окну. Посмотрела сбоку, на просвет. Потёрла ноготь большим пальцем через перчатку. Ничего не сошло.

— Когда? — я спросила это, не поднимая глаз.

— Я заметила у Кервен, — Мадлон говорила быстро, сби-
ваясь. — Сняла перчатку, чтобы взять бусину, а там... Я сна-
чала подумала, это от масла. От очистки. Там же всё было
в масле, Анаик, у меня до сих пор запястья в волдырях. Я
заверила продление, как полагается, сказала вдове, что всё в
порядке, и пошла. А на мосту посмотрела ещё раз. И пятно
стало больше.

— Покажи запястье.

Она закатала рукав.

Я сняла свою перчатку, положила два пальца ей на за-
пястье — туда, где под кожей бьётся жила, — и посмотрела
по-настоящему.

У каждой свидетельницы есть своя нить, только одна, та,
что легла при посвящении. Мы учимся видеть её раньше,
чем чужие: тонкую, светлую, натянутую от запястья куда-то
вниз и в сторону, сквозь пол, сквозь камень, к залу Аэлиз,
где в основании башни лежит Сердце — самый старый и са-
мый большой янтарь гильдии, на котором каждая из нас обе-
щала: не заверю того, чего не видела. Залогом в этом обете
стоит жизнь. Нить посвящения не толще волоса и не меня-
ется годами. Я видела нить Мадлон сотни раз, когда мы бы-
ли послушницами и проверяли друг друга, пока наставницы
не видят.

Сейчас её не было.

Вернее, была. От запястья отходил короткий светлый от-

росток, длиной с ноготь, и обрывался. Дальше — пусто. Ни натяжения, ни света, ничего, будто нить посвящения никогда не уходила к Сердцу.

Я наклонилась ближе.

Конец был гладкий. Ровный, будто его срезали лезвием. Ни одного волокна, ни одной растрёпанной пряди, как бывает, когда нить рвётся от нарушенного слова. И рядом, совсем близко, почти прижавшись к коже, лежала ещё одна жилка — бледная, короткая, прозрачная, как след от пальца на стекле.

Третья.

Я отпустила её руку. Пальцы у меня дрожали.

— Что? — Мадлон смотрела мне в лицо. — Что там? Скажи.

— Её перерезали.

Мадлон не сразу поняла. Потом до неё дошло — я видела, как это дошло до неё, медленно, будто холод пробирается под плащ. Она опустила глаза на своё запястье, где сама ничего не могла увидеть: свою нить свидетельница не различает, это знает каждая, свою можно увидеть только чужими глазами.

— Как у Иво, — прошептала она.

— Как у Иво.

— Но я ничего не нарушала, — голос у неё сорвался. — Я ничего не заверяла, чего не видела. Ни разу. Анаик, я в жизни не солгала на круге...

— Я знаю. Знаю, — я взяла её за плечи. — Нить не порвалась сама. Её перерезали, слышишь? Ты не нарушала обета. Но янтарь не знает разницы. Для него обет нарушен, и он берёт залог.

— Жизнь, — Мадлон закрыла глаза.

Мы стояли посреди моей кельи, и за окном кричали чайки, а внизу, во дворе, сестра-привратница ругала кого-то за открытую калитку, и всё это было очень далеко.

* * *

Я усадила её на кровать, укрыла своим плащом поверх её собственного и села рядом. Её била мелкая, непрерывная дрожь, как в лихорадку.

— Кто тебя касался? — я старалась говорить спокойно. — Сегодня, вчера. Кто брал тебя за руку, за запястье. Подумай хорошо.

— Вдова Кервен, — Мадлон открыла глаза. — Она держала меня за руку, когда давала обет. Но она не свидетельница, она не может...

— Не может. Ещё кто?

— Сын её, Янн. Пожал руку на пороге. Торговка на мосту, когда я споткнулась, — она нахмурилась. — Вчера Бенуаза в мастерской поправляла мне перчатку. Сестры в трапезной... Анаик, нас за день касаются десять раз, мы не считаем.

— Свидетельницы. Только свидетельницы. И только запястье, голой рукой или через тонкую перчатку.

Мадлон долго молчала. Потом медленно подняла голову.

— Утром, — она проговорила это так тихо, что я едва расслышала. — У ворот. Я уходила к Кервен, а она стояла у калитки с Фаншон. Матушка. Она подозвала меня и спросила, как мои руки после очистки. Велела показать. Я сняла перчатки, и она... — Мадлон сглотнула. — Она взяла меня за запястья. Обеими руками. Долго смотрела на волдыри. Сказала: «Береги руки, девочка. Свидетельнице руки нужны больше, чем глаза». И отпустила.

У меня в горле стало сухо.

— Она была в перчатках?

— В своих, шерстяных. Как всегда, — Мадлон смотрела на меня, не моргая. — Я ничего не почувствовала. Ничего, Анаик. Только что пальцы у неё холодные. Как у мёртвой.

Ни одна из нас не произнесла вслух того, что думала. Это было не нужно.

Ортанс знала, что в мастерской кто-то был в ночь перед очисткой. Ей было известно, что при очистке Мадлон держала печать и обожгла руки. Она видела, как вчера Мадлон стояла под моим окном и коснулась своего запястья — нашим старым знаком. И Ортанс решила, что печать, которую опустили в кипящее масло, могла быть не той.

И что, если она не та, настоящая — у Мадлон.

— Она думает, что печать у тебя, — наконец выговорила я.

— Печать у меня, — Мадлон коротко, страшно засмеялась. — В том-то и дело. Печать у меня.

Есть вещи, которым гильдия учит сразу, и есть то, о чём она молчит. Как застывает человек, нарушивший обет, нам рассказывают на втором году послушничества. Подробно, с рисунками из пятого зала архива, чтобы мы знали, что говорить должникам на причалах. Сначала ногти. Потом подушечки пальцев: они становятся гладкими, твёрдыми и прозрачными, через них видно кость. Потом кисть. Если залогом стоит рука — дальше не идёт. Если жизнь — идёт дальше: запястья, локти, плечи. Боли человек не чувствует. Только холод и тяжесть. Последним застывает сердце.

Сколько на это нужно времени — зависит от залога. Рука застывает за три-четыре дня. Жизнь — за девять.

Чего нам не рассказывают — так это что можно сделать. Потому что гильдия считает: ничего.

— Девять дней, — Мадлон сидела, глядя на свою руку. Она снова надела перчатку и теперь сжимала и разжимала пальцы, будто проверяла, слушаются ли. — Это много. Правда, много? Можно столько всего успеть.

— Мадлон.

— Нет, правда, — она подняла на меня глаза, и в них стояли слёзы, но голос оставался почти весёлым. — Я всегда хотела увидеть острова. И попробовать ту рыбу, которую едят сырой, с лимоном. И поцеловать кого-нибудь, кто не будет потом говорить, что я слишком много болтаю. Девять дней. Я успею хотя бы рыбу.

Я обняла её. Она уткнулась мне в плечо и наконец заплакала — беззвучно, долго, вздрагивая всем телом.

Я гладила её по спине и думала.

Пойти к Бенуазе? К сестре-лекарке? Они увидят нарушенную нить посвящения. Ни одна из них не станет вглядываться в срез: сестры видят то, что ожидают увидеть, я сама три года назад была такой. Мадлон объявят клятвопреступницей. Её отведут в нижний зал, где сёстры, нарушившие посвящение, ждут конца, чтобы гильдия могла потом сказать, что сама исполнила устав. И всё время, пока она застывает, у её постели станет сидеть мать-настоятельница. Ласковая, в плеле. И спрашивать, где печать.

Пойти к Совету? С чем? Со словом свидетельницы первой ступени против слова матери-настоятельницы, без печати, без доказательств, кроме пожелтевших ногтей девушки, о которой скажут, что она солгала на круге?

Отдать печать? Положить её Ортанс на колени и попросить: верните Мадлон её нить. Но перерезанную нить нельзя срастить — так, во всяком случае, учит гильдия.

Правда, гильдия учит и тому, что её нельзя перерезать.

Мадлон перестала плакать. Она отстранилась, вытерла лицо краем моего плаща и шмыгнула носом.

— Ты думаешь, — она это не спросила, а сказала. — У тебя лицо, как на суде. Что ты придумала?

— Пока ничего.

— Врёшь. Ты всегда так смотришь, когда придумала, но

тебе не нравится, — Мадлон слабо улыбнулась. — Девять лет, Анаик. Я тебя знаю.

* * *

Мы договорились о простых вещах.

Мадлон скажется больной. Лихорадка после ожогов — это никого не удивит: сестра-лекарка сама предупреждала, что волдыри от горячего масла могут загноиться. Мадлон ляжет в своей келье, будет носить перчатки не снимая и никого к себе не пустит, кроме меня. Свои заверения на ближайшие дни я возьму на себя, Арзель подождёт со сверкой.

А печать...

— Где она? — я спросила это совсем тихо, хотя дверь была закрыта и коридор пуст.

Мадлон помолчала.

— На крыше. Там, где мы с тобой сидели вчера утром. Третий желоб от трубы, под отставшей черепицей. Я завернула её в промасленную тряпку и в кожу.

— Я её заберу.

— Зачем?

— Потому что матушка будет искать её у тебя. Сначала в келье, потом везде, где ты бываешь. А на крышу ты ходишь со мной.

Мадлон кивнула. Потом взяла меня за руку — правой, ещё целой.

— Если она придёт... — голос у неё дрогнул. — Если матушка придёт ко мне. Что мне говорить?

— Что у тебя жар. Что тебе плохо. Что ты ничего не знаешь ни о какой печати. — Я сжала её пальцы. — И не давай ей касаться твоих рук. Ни за что, Мадлон. Ни под каким предлогом.

— Она мать-настоятельница. Я не могу ей не дать.

— Можешь. Скажи, что волдыри гноятся и лекарка запретила трогать. Скажи что угодно.

Мадлон смотрела на меня долго, и в её глазах я видела то же, что чувствовала сама: невозможность всего этого. Ещё месяц назад мать-настоятельница была для нас самым надёжным, что есть в мире. Тёплой рукой на лбу в лихорадку. Голосом, который читал нам устав по вечерам, когда мы были маленькими и боялись темноты. Её любили все послушницы. Я любила её больше всех.

— Иди, — Мадлон отпустила мою руку. — Арзель решит, что ты сбежала.

* * *

Я поднялась на крышу после полудня, когда в мастерской начинают мыть сырец и все сёстры, кто свободен, спускаются в нижний двор таскать воду.

Ветер был сильнее, чем вчера. Он рвал с меня чепец, забирался под плащ, гудел в водосточных трубах. Я пробиралась между желобами, держась за ограждение, и считала от каменной трубы: первый, второй, третий. Черепица там действительно отстала: угол приподнимался, если надавить. Я подцепила её ногтем через перчатку.

Под черепицей было пусто.

Секунду я смотрела на голые доски обрешётки, на мокрый мох в щелях, и у меня внутри всё оборвалось. Потом я подумала: третий от трубы — но от какой? Их на крыше две. Я перебралась к дальней, у северного края, и снова начала считать.

Третий желоб. Отставшая черепица. Под ней — свёрток, плоский, туго перевязанный бечёвкой.

Я развернула его прямо там, на ветру, прикрывая плащом. Печать Иво Ардуэна лежала в промасленной тряпке, тёмная, тяжёлая, в серебряной оправе с царапиной на ободке. Я не стала её разглядывать. Мне это было не нужно. Я знала, что там.

Я сунула свёрток за пазуху, под рубашку, к самому телу, где никто не станет искать, и спустилась вниз.

На лестнице мне встретилась сестра Фаншон, которая всегда ходит за матушкой с тёплым питьём и запасным пледом.

— Свидетельница Сальве, — она приветливо кивнула. — Матушка спрашивала, не видели ли вы сестру Ферре. Ей сказали, что та вернулась от Кервен раньше времени.

— Сестра Ферре нездорова. Лихорадка после ожогов.

— Ах, бедняжка, — Фаншон покачала головой. — Матушка так и думала. Она хотела зайти к ней вечером, провести.

— Лекарка запретила к ней заходить. Волдыри загноились, — я старалась, чтобы голос звучал ровно. — Это мо-

жет быть заразно.

— Конечно, — Фаншон снова закивала. — Я передам.

Она пошла вниз, мягко ступая в войлочных туфлях. Я стояла на лестнице и чувствовала, как печать Иво Ардуэна давит мне на рёбра, тяжёлая, словно камень.

* * *

Заверения Мадлон на вторую половину дня были в Среднем городе: два найма в красильню и поручительство за подмастерья у бочара. Я сделала всё, как полагается, записала в книгу её почерком, чуть наклонным, с завитком на «д», которому мы когда-то вместе учились у Арзель, и вернулась в Янтарный двор, когда солнце уже садилось за мыс.

В нижнем коридоре, у трапезной, меня ждала сестра Бенуаза.

Она не делала вид, что оказалась тут случайно. Стояла у колонны, сложив руки в рукавах, седая до бровей, с лицом, похожим на запертую дверь, и смотрела, как я снимаю плащ.

— Свидетельница Сальве, — она дождалась, пока я подойду ближе. — Сестра Ферре больна, как я слышала.

— Да, сестра Бенуаза. Лихорадка после ожогов.

— После ожогов, — Бенуаза повторила это без всякого выражения. — Я была при котле, Сальве. Я видела её руки после очистки. Волдыри были чистые, неглубокие. Через три дня от них не останется следа.

Я молчала.

— Сестра-лекарка не была у Ферре сегодня, — продол-

жала Бенуаза так же ровно. — Я спрашивала. Она ничего не знает ни о лихорадке, ни о гное. А матушке сказали, будто лекарка запретила к ней заходить.

— Я, наверное, перепутала, — у меня пересохло во рту. — Мадлон сказала, что ей плохо, и я...

— Ты не путаешь, Сальве. Ты никогда ничего не путаешь, за это тебя и держат на круге Аэлиз, — Бенуаза помолчала. — Я не знаю, что вы с Ферре затеяли. И не спрашиваю. Но я хочу, чтобы ты знала одну вещь. Тридцать лет назад у меня была подруга, которая тоже вдруг заболела. Она пролежала в келье девять дней и никого к себе не пускала, кроме меня. А на десятый её отнесли в нижний зал.

Она посмотрела на меня. Глаза у неё были серые, холодные и очень усталые.

— Её звали не Эльвина, если ты об этом подумала. Эльвина ушла. А Мари-Аннет никуда не ушла. Она там, внизу, в третьем зале, среди погасших печатей, — Бенуаза отступила от колонны. — Береги свою подругу, Сальве. От всех. И от меня тоже.

Она пошла к лестнице, не оглядываясь. Я стояла у трапезной, и из-за двери пахло луковой похлёбкой, и сёстры смеялись чему-то за длинным столом, и я не могла сдвинуться с места.

* * *

К вечеру жёлтым стал средний палец Мадлон целиком, до первой фаланги. Мизинец перестал сгибаться.

Я сидела у её постели, держала её за правую руку и рассказывала глупости: про то, как на Рыбном рынке торговка мидиями пыталась продать мне ведро улиток, выдавая их за морских. Мадлон смеялась слабо, через силу, и время от времени поднимала к глазам левую руку и смотрела сквозь мизинец на свечу.

— Красиво, — Мадлон повернула руку к пламени. — Правда красиво. Видно косточку. Как у рыбки в янтаре.

Я промолчала.

Когда колокол пробил повечерие, я поднялась.

— Куда ты? — Мадлон приподнялась на локте.

— Ненадолго. В Нижний город.

— Зачем?

— Сказать кое-кому, что мне нужна помощь.

Мадлон посмотрела на меня. Долго. Потом откинулась на подушку.

— Он тебя выгнал, — её голос был совсем тихим. — Ты сама говорила.

— Не выгнал. Попросил уйти. Это разное.

— Ты сама себе веришь?

— Нет, — я надела плащ. — Но он единственный, кого я знаю за стенами гильдии. И он не побежит к матушке.

* * *

Я не пошла на левый берег.

Я дошла до Рыбного рынка, где торговки уже сворачивали навесы, и встала у весовой будки, там, где вчера заверяла

наймы. Я знала, что он сюда приходит: Эрван каждый вечер приносил с верфей снасти, которые чинил Ронан, и продавал лодочникам за медь. Корантен об этом не знал, а может, знал и делал вид, что не знает.

Эрван появился, когда уже зажгли фонари. С мотком сети через плечо, в чужой, слишком большой куртке, загорелый, вытянувшийся за этот месяц так, что штаны стали ему коротки. Он увидел меня и остановился.

— Ана? — он подошёл, переложил сеть на другое плечо. — Ты чего тут? Поздно уже.

— Эрван, — я не знала, как начать. — Ты можешь передать Корантену... — я осеклась. — Нет. Ничего не передавай.

— Чего не передавать-то?

— Ничего. Иди домой.

Брат не ушёл. Стоял и смотрел на меня снизу вверх — тем взглядом, каким смотрят мальчишки, которые слишком рано научились различать, когда взрослым плохо. Три года на копанках учат этому быстрее любой школы.

— У тебя лицо такое, — он помолчал, подбирая слова. — Как тогда, на кладбище у Красных камней. Когда отца закапывали. Что случилось?

Я хотела соврать. Сказать, что ничего, что я просто устала. Но я стояла на Рыбном рынке с перерезанной нитью своей лучшей подруги перед глазами и печатью мёртвого человека под рубашкой, и в горле не нашлось ни одного вранья.

— Мадлон заболела, — я выговорила это шёпотом. — Очень сильно. Мне нужен лекарь. Не из гильдии.

Эрван подумал.

— На Нижнем причале есть одна, — неуверенно протянул он. — Старуха. Её все боятся. Ронан говорил, она в молодости чего-то такое умела, за что из города выгоняют. Только к ней просто так не пойдёшь, её знать надо.

— Ты её знаешь?

— Не, — Эрван помотал головой. — Корантен знает. Он к ней ходил весной, когда у Ронана культя гнила.

Он переступил с ноги на ногу, поправил сеть.

— Я ему скажу, — брат решил это за меня, твёрдо, взрослому. — Ты не просила, я сам скажу.

— Эрван...

Но он уже бежал к мосту, придерживая сеть, и через минуту исчез в темноте между фонарями.

Я стояла у весовой будки ещё долго. Торговки разошлись. Чайки затихли. Над заливом поднималась луна, неполная, шербатая, и в её свете вода казалась жёлтой.

Как янтарь.

Глава восемнадцатая.

Нижний причал

Когда я вернулась в Янтарный двор, сёстры уже спали. Привратница, ворча, отперла мне малую дверь, спросила, где меня носит в такой час, и не стала слушать ответа.

Я поднялась к Мадлон. Она не спала: лежала на боку, лицом к стене, и держала левую руку на одеяле, подальше от себя, как держат чужую вещь.

— Ну что? — она не повернулась.

— Эрван ему скажет.

— А он придёт?

— Не знаю.

Мадлон помолчала.

— Мне холодно, — призналась она наконец. — Не снаружи. Внутри. Как будто я проглотила снег.

Я спустилась на кухню за горячей водой. Огонь в большом очаге был уже присыпан золой на ночь, но котёл на крюке ещё не остыл. Я налила кувшин, обмотала ручку тряпкой и уже повернулась к двери, когда увидела на решётке над очагом, где сушат мокрое, знакомый серый плед. И рядом с ним — пару шерстяных перчаток.

Матушкиных. Других таких в Янтарном дворе не было: двойной вязки, с кожаными накладками на ладонях, чтобы

держат палку. Фаншон каждый вечер стирала их и вешала сушиться, потому что Ортанс не выносила влажной шерсти на руках.

Я не знаю, почему я остановилась. Может быть, потому что весь этот день я смотрела на руки — на руки Мадлон, на свои, на руки Бенуазы, спрятанные в рукава. Я поставила кувшин на край стола и подошла ближе.

Правая перчатка висела пальцами вниз. На кончике указательного, там, где шерсть протёрлась почти до основы, лежала тонкая желтоватая корочка. Как засохшая капля мёда. Я поднесла к ней свечу.

Корочка блестела. Я наклонилась и вдохнула.

Сосна. Слабый, едва уловимый запах сосновой смолы — тот самый, которым пахнет бусина, когда на ней ложится обет. Только здесь он был другим: горьковатым, будто смолу пережгли.

Фаншон стирала эти перчатки каждый вечер. Значит, корочка появилась сегодня. После стирки вчерашней.

Сегодня утром матушка держала Мадлон за запястья. Долго, обеими руками.

Я отступила от очага, взяла кувшин и пошла наверх. Ступеньки скрипели под ногами. Вода в кувшине плескалась, и я слышала, как у меня стучит сердце — громче шагов и плеска.

Я не сказала Мадлон про перчатки. Не смогла.

* * *

Камушек ударил в ставень около полуночи.

Я сидела у Мадлон на табурете, привалившись к стене, и, должно быть, задремала, потому что вздрогнула всем телом. Мадлон тоже открыла глаза. Мы посмотрели друг на друга. Второй камушек стукнул тише, будто бросавший сомневался.

Я подошла к окну и приоткрыла ставень.

Внизу, в садовом проходе между стеной и грядками лекарственных трав, стоял человек в тёмной куртке. Он поднял голову, и луна легла ему на лицо, и я поняла, что держусь за подоконник словно могу упасть.

Корантен.

Он ничего не сказал. Только поднял руку и показал на калитку в садовой стене — ту, что ведёт на тропу к Нижнему городу. Потом на меня. Потом снова на калитку.

Я кивнула.

— Он пришёл, — я закрыла ставень и обернулась. Голос у меня оказался совсем чужим. — Мадлон. Он пришёл.

Мадлон села на постели. Глаза у неё блеснули.

— Я же говорила, — она попыталась засмеяться. — Нет, это ты говорила. Неважно. Помоги мне надеть башмаки, у меня пальцы не слушаются.

Я помогла. Левая рука у неё не сгибалась уже в двух пальцах, и справиться с ботинками она не могла, так что я затягивала шнурки, стоя на коленях, а она сидела и смотрела на меня сверху вниз.

— Если нас поймают... — начала она.

— Не поймают.

— Если поймают, скажи, что я тебя заставила. Что я в бреду. Что я угрожала прыгнуть с крыши.

— Мадлон.

— Я серьёзно. Мне всё равно уже, — она тронула меня за макушку здоровой рукой. — А тебе ещё стоять на круге Аэлиз.

Я затянула последний узел и поднялась. Печать Иво Ардуэна лежала у меня за пазухой, тяжёлая и тёплая от тела. Я подумала, не спрятать ли её в келье, и передумала. Теперь её нигде нельзя было оставлять.

* * *

Мы спускались по чёрной лестнице, мимо кладовых, мимо прачечной, мимо двери в нижний зал, о котором я старалась не думать. Мадлон шла медленно, держась за стену правой рукой. Её шаги были почти не слышны, мои казались мне грохотом.

У садовой калитки нас ждало первое чудо этой ночи.

Калитку на ночь запирают на засов и на замок. Ключ от замка один, он висит на поясе у привратницы. Я знала это и всю дорогу вниз думала, как мы будем перелезть через стену, с Мадлон, которая не может согнуть пальцы.

Засов был отодвинут. Замок висел на дужке открытым.

А на земле у калитки, прикрытый перевёрнутым ведром, стоял потайной фонарь. Зажжённый.

Мы с Мадлон переглянулись.

— Бенуаза, — одними губами выдохнула Мадлон.

Я промолчала. Я подняла фонарь, толкнула калитку, и она открылась без скрипа: петли были смазаны. Свежим жиром. Я чувствовала его запах.

«Береги свою подругу. От всех. И от меня тоже».

Корантен ждал на тропе, в двадцати шагах, у старого вяза. Он шагнул нам навстречу, посмотрел на Мадлон, потом на меня — коротко, будто проверял, все ли на месте, — и протянул руку.

— Вы можете идти? — он обратился к Мадлон.

— Ногами — да, — Мадлон подала ему здоровую руку.
— Пальцами — нет. Вы Ардуэн?

— Да.

— Я Ферре. Мне про вас много рассказывали, — Мадлон оглянулась на меня через плечо. — Почти всё хорошее.

Корантен ничего не ответил, но угол рта у него дрогнул. Он подхватил Мадлон под локоть и повёл вниз по тропе, к Нижнему городу. Я шла сзади с фонарём, прикрывая его полёй плаща.

За весь спуск он ни разу не обернулся ко мне.

* * *

Лодка ждала у Рыбного причала, привязанная к свае, та самая плоскодонка, на которой он вёз меня через залив после бури. Корантен посадил Мадлон на корму, укрыл своей курткой, отвязал швартов.

— Нижний причал на этом берегу, — я остановилась у края досок. — Зачем лодка?

— По берегу через Смолокурный конец долго. И там ночью стражники. По воде быстрее.

Я спустилась в лодку. Он оттолкнулся веслом от сваи, развернул нос к югу, вдоль города, и начал грести, ровно, мощно, не глядя на меня.

Мы плыли вдоль спящего Кер-Ис-Мора. Справа поднимались дома, тёмные, с редкими огоньками в окнах, слева лежал залив, плоский и серебряный под луной. Вода шуршала под днищем. Мадлон на корме, кажется, задремала, привалившись к борту.

Я сидела на средней банке, лицом к Корантену, и смотрела на него. Он глядел мимо, на берег.

— Спасибо, — я старалась говорить тихо, чтобы не разбудить Мадлон.

— Не за что.

— Есть за что. Ты мог не прийти.

Он молчал. Вёсла входили в воду и выходили, роняя капли.

— Эрван прибежал, когда мы ужинали, — наконец заговорил Корантен. — Мокрый по пояс: он перешёл Волнорезный брод вместо моста, чтобы быстрее. Встал в дверях и выпалил: «Ана просила не говорить, но я скажу». И рассказал, — он помолчал. — Гвенола спросила, пойду ли я. Я сказал, что нет.

— Почему пошёл?

— Потому что Ронан встал из-за стола и пошёл за курткой. Он не разговаривает с чужими. Он с тобой ни разу и не говорил. Но он пошёл за курткой, — Корантен сделал ещё два гребка. — Я подумал, что если однорукий старик пойдёт ночью через залив за свидетельницей, а я буду сидеть дома, то мне лучше вообще не выходить больше из дома.

Ответа у меня не было. Я смотрела на его руки на вёслах и думала, что вот так же, наверное, грёб его отец в ночь второго шторма, когда Лоэ Кервен ушёл с ним к сваям и не вернулся.

— Я была права, — я сама удивилась, что говорю это. — В ту ночь. Я не должна была говорить словно знаю, что тебе нужно.

— Ты не была права, — Корантен впервые посмотрел на меня. В лунном свете глаза у него были совсем тёмные. — Ты была права. Это хуже.

— Почему хуже?

Он долго не отвечал. Лодка шла вдоль длинного каменного мола, за которым начинались лачуги Нижнего причала, на сваях, с сетями, развешанными на шестах.

— Потому что, когда ты права, мне нечего тебе возразить, — наконец проговорил он. — А когда мне нечего возразить, я не знаю, что делать. Я всю жизнь знал, что делать. Чинить. Строить. Торговаться. Держать Гвенолу подальше от Кермарексов. Платить долги отца. А ты пришла и стала делать для

меня вещи, которые я не просил и за которые не могу заплатить. Без янтаря. Без залога. Просто так.

— Я ничего не...

— Ты стояла в Весовой палате и цитировала устав, чтобы я мог не брать бусину. Ты врѣшь гильдии каждый день, глядя на мою нить. Ты рискуешь всем, что у тебя есть, ради человека, который даже не может тебе ничего пообещать. — Голос у него стал жѣстче. — Я не умею так. Понимаешь? Я не умею, когда мне дают, а я не могу вернуть. Это как долг без срока. Он всё время висит, и ты не знаешь, когда за ним придут.

— Никто за ним не придѣт.

— Вот это и страшно, — Корантен опустил глаза на вѣсла.

— Это хуже всего.

Я посмотрела на Мадлон. Она спала, приоткрыв рот, и левая рука лежала у неё на коленях поверх куртки, неподвижная, с растопыренными пальцами.

— Её нить перерезали, — я наклонилась к нему, чтобы говорить совсем тихо. — Как у твоего отца. Срез и бледная жилка рядом. Утром её держала за запястья мать-настоятельница. А вечером на кухне сушились матушкины перчатки, и на правой, на указательном пальце, была смола. Горелая. Свежая.

Корантен перестал грести. Вѣсла повисли над водой, с них капало.

— Ты уверена?

— Я ни в чём не уверена. Я видела перчатку. Я видела нить. Больше я ничего не видела.

Он долго молчал. Лодку медленно разворачивало течением, и он, не глядя, поправил её одним веслом.

— Значит, это она, — наконец выговорил он. Не спрашивая. — И отца — она.

— Я не знаю.

— Ты знаешь, — он снова взялся за вёсла. Гребки стали короче, злее. — Ты просто не хочешь знать. У тебя на лице всё написано, свидетельница. Даже в темноте.

Мадлон говорила мне то же самое вчера утром, на крыше, почти теми же словами. Я промолчала. Печать Иво Ардуэна лежала у меня под рубашкой, и мне казалось, что она стала тяжелее.

— Не делай ничего, — я попросила это, глядя ему в лицо. — Пожалуйста. Не ходи никуда, не говори никому. Пока Мадлон не выкарабкается. Если матушка поймёт, что мы знаем...

— Я не дурак, — Корантен снова смотрел мимо меня. — Двадцать четыре дня до Прилива. Я умею ждать.

Лодка обогнула мол, и впереди, в конце причала, показался дом — выше остальных, на толстых чёрных сваях, с узким крыльцом и лестницей, уходящей прямо в воду. В одном окне горел свет.

— Это она, — Корантен развернул лодку к лестнице. — Тифэн.

— Кто она?

— Не знаю. Правда не знаю. Ронан говорит, она была из ваших, давно, лет сорок назад. Потом её выгнали. Или сама ушла. Она лечит то, что не лечат в городе. Берёт дорого, — он помолчал. — Весной она вылечила Ронану культю. Гангрена уже пошла, лекарь с Холма сказал — резать до плеча. Она взяла за это мамин гребень. Последнее, что у нас от мамы оставалось.

Лодка ткнулась в нижнюю ступеньку. Корантен поймал рукой сваю, удержал.

— Она возьмёт то, что тебе дороже всего, — Корантен не смотрел на меня. — Так говорят. Так и есть.

* * *

Тифэн открыла дверь прежде, чем мы постучали.

Она была маленькой — ниже меня на голову, сухой, сгорбленной, в тёмном шерстяном платье, подвязанном верёвкой. Волосы у неё были не седые, а белые, как пух, и заплетены в тонкую косу до пояса. Лицо — жёлтое. Не загорелое, не смуглое. Жёлтое, ровно, как старая бумага. Как у Ортанс.

И глаза. Светлые, почти прозрачные, с тёмным ободком по краю радужки. Глаза свидетельницы.

— Ардуэн, — она посмотрела на Корантена. — Опять, — потом на меня. Долго, внимательно, с ног до головы, задержавшись на руках в белых перчатках. — И свидетельница. Сальве. Из-под Ортанс. Ну, входите. Не стойте на ветру, у

меня ноги мёрзнут.

Голос у неё был низкий, хрипловатый, неожиданно сильный для такого маленького тела.

Внутри дом оказался одной большой комнатой, жарко нагретой, полной сухих трав, свисающих с балок, глиняных горшков, склянок, мотков ниток. Посреди комнаты стоял стол, на столе — лампа и шкатулка из тёмного дерева. Пахло сосной.

— Сажай её, — Тифэн ткнула пальцем в лавку у очага. — Ближе к огню. Нет, не так близко. Застывающим нельзя к огню, быстрее идёт. Вот так.

Корантен усадил Мадлон. Та смотрела на старуху во все глаза.

— Вы откуда знаете, что я застываю?

— По тому, как ты держишь руку, девочка, — Тифэн опустилась рядом на табурет, кряхтя. — Я видела, как держат руки застывающие. Сотни раз. Покажи.

Мадлон стянула перчатку. Тифэн взяла её руку — без всяких церемоний, голыми пальцами, жёлтыми, сухими, с распухшими суставами, — и поднесла к лампе.

Я смотрела на её лицо. Оно не изменилось. Только брови чуть сошлись над переносицей.

Потом Тифэн положила два пальца Мадлон на запястье. Так же, как утром клала я. И замерла.

Тишина стояла долго. Трещали дрова в очаге. Где-то под полом, под сваями, плескалась вода.

— Перерезано, — Тифэн произнесла это негромко, будто сама себе. — Давно я такого не видела. Лет сорок, пожалуй, — она подняла глаза на меня. — Ты ведь видела. Срез, и бледную рядом. Видела?

— Да.

— И знаешь, чья бледная?

Я молчала. Корантен, стоявший у двери, повернул голову ко мне.

— Знаешь, — Тифэн приняла моё молчание за ответ. — Ну и не говори. Мне не надо. Я и так знаю, кто в этом городе умеет резать. Нас было двое, кто умел. Я ушла. Она осталась.

Мадлон вздрогнула.

— Вы можете это... — она запнулась. — Вы можете это исправить?

Тифэн отпустила её запястье. Посмотрела на огонь.

— Срастить перерезанную нить нельзя, — в её голосе не было ни жалости, ни нажима. — Это правда. Это одна из немногих правд, которые написаны в ваших свитках, — она помолчала. — Но можно сделать другое. Можно положить новую. Снять залог со старой, пока он не взят целиком, и привязать тебя заново. Не к Сердцу — к живому человеку. На время.

— К кому?

— Ко мне, — Тифэн пожала плечами. — На девять ночей. Твоя нить будет держаться за мою, а моя — за меня. Янтарь решит, что обет не нарушен, а перенесён. И отпустит.

— И я... не застыну?

— Не застынешь. Пальцы, что успели, может, и останутся жёлтыми. Мизинец — наверняка. Но жить будешь.

Мадлон закрыла лицо здоровой рукой. Плечи у неё тряслись.

Я не сводила глаз с Тифэн. Что-то в её голосе, в том, как она глядела в огонь, было неправильным. Слишком легко. Будто она говорила не всё.

— Что вы за это возьмёте? — я спросила это прямо.

Тифэн повернулась ко мне. Глаза у неё в свете очага были как два кусочка бледного янтаря.

— Умница, — она усмехнулась одним углом рта. — Ортанс всегда брала умных, — она поднялась с табурета, медленно, опираясь на колено. — Чтобы положить новую нить, мне придётся забрать кое-что у неё, — она кивнула на Мадлон. — Нить посвящения держит не только залог. В ней всё, что ты видела, пока она была на тебе. Вся твоя служба — в ней. Когда я сниму залог, снимется и часть того, что она держит.

— Память, — тихо выговорил Корантен.

— Память, — подтвердила Тифэн. — Не всю. Последнее. Недели три, может месяц. То, что легло на нить позже всего, уходит первым, — она снова посмотрела на Мадлон. — Ты забудешь, как застывала и почему. Что держала в руках в ту ночь у котла. Может, и что-нибудь хорошее уйдёт. Это не выбирают.

Мадлон отняла руку от лица. Глаза у неё были мокрые, но смотрела она твёрдо.

— Это не цена. Это... — она сглотнула. — Это подарок. Я с радостью забуду этот день.

— Это не цена, — согласилась Тифэн. — Это только то, как оно работает. Цена — другое.

Тифэн вдруг повернула голову и потянула носом воздух, как собака на причале.

— А что это у тебя за пазухой греется, свидетельница?

Я замерла.

— Ничего.

— Не ври старухе. Я янтарь чую через три стены, — Тифэн смотрела на меня, прищурившись. — Печать. Старая, на крови. И чья-то чужая смерть в ней. Чья?

Корантен у двери перестал дышать. Я чувствовала это, не глядя на него.

— Иво Ардуэна, — я выговорила это наконец.

Тифэн долго молчала. Потом медленно кивнула, будто подтверждала что-то давно известное ей одной.

— Ту, что Органс должна была сварить в новолуние, — она хмыкнула. — Вот оно как. Ну, держи пока при себе. Потом покажешь. Не сейчас. Сейчас мне нужны руки, а не зачатки.

Она повернулась к Корантену. Долго разглядывала его — так же, как меня в дверях, с ног до головы.

— Платить будешь ты, Ардуэн.

— Я?

— Ты. Она — гильдейская, у неё ничего своего нет, даже имени, — Тифэн мотнула головой в мою сторону. — У этой тоже. А ты пришёл с ними. Значит, ты и платишь.

Корантен стоял у двери очень прямо.

— Что вы хотите?

Тифэн не ответила сразу. Она подошла к столу, открыла тёмную шкатулку и долго что-то перебирала внутри, спиной к нам.

— Начнём до рассвета, — она не обернулась. — Первая ночь самая важная. Если не успеем до света, будет поздно. А о цене поговорим, когда я закончу. Ты не откажешься. Ты же Ардуэн. Твой отец тоже никогда не отказывался.

Она обернулась. В руках у неё была бусина — большая, с перепелиное яйцо, тёмно-медовая, с жилкой внутри.

— А ты, свидетельница, — она посмотрела на меня. — Будешь смотреть. Мне нужна вторая пара глаз. Своих у меня уже не хватает.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.